

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA



ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

DK38
.P59
1923b

This book is due at the LOUIS R. WILSON LIBRARY on the last date stamped under "Date Due." If not on hold it may be renewed by bringing it to the library.

[illegible]



Digitized by the Internet Archive
in 2026 with funding from
University of North Carolina at Chapel Hill

М. И. ПОКРОВСКИЙ

БОРЬБА КЛАССОВ И
РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА

**This is an authorized facsimile of the original book,
and was produced in 1978 by microfilm-xerography
by University Microfilms International
Ann Arbor, Michigan, U.S.A.
London, England**

2-е издание

РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИЗОР»
ЛЕНИНГРАД

М. Н. ПОКРОВСКИЙ

БОРЬБА КЛАССОВ И
РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА

Bor'ba . klassov i russkaja

ЛЕКЦИИ, ЧИТАННЫЕ В КОММУНИСТИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ ТОВАРИЩА ЗИНОВЬЕВА

3—7 мая 1923 г.

2-е исправленное издание

РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ»
ЛЕНИНГРАД



М. Н. ПОКРОВСКИЙ

**БОРЬБА КЛАССОВ
И РУССКАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА**

П Р И Б О Й

Slav 601.715

~~Slav 775.28~~

✓

HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM THE
ARCHIBALD CARY COOLIDGE FUND

Apr 8, 1931

ТИПОГРАФИЯ
РАБОЧЕГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
"ПРИБОЙ"
ИМЕНИ
ЕВГ. СОКОЛОВОЙ
вн. приказ. командиров 29
ЛЕНИНГРАД.

1927

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ.

Во втором издании книжка выходит без существенных изменений. Устранены только кое-какие намеки на то, что было «современностью» в 1923 году и что всеми совершенно забыто теперь, — да в полудюжине мест сглажены стилистические шероховатости. Ни от одной мысли, высказывавшейся по данному поводу три года назад, автору не приходится отказываться. Для первоначального ознакомления с предметом ничего другого он и сейчас дать не мог бы. Затрагиваемые в книжке темы были с тех пор проработаны в одном из семинариев Института Красной Профессуры; представленные в этот семинарий доклады выйдут вскоре отдельной книжкой — они дадут возможность интересующимся подробнее ознакомиться с физиономией тех историков, лишь общая характеристика которых могла быть дана в настоящих лекциях.

Более обстоятельное обоснование взглядов самого автора может быть найдено в сборнике его статей: «Марксизм и особенности исторического развития России» (Ленинград, 1925, «Прибой»). В этот же сборник перенесена и напечатанная, как приложение, в первом издании настоящей книжки, статья по поводу первой главы «1905» т. Троцкого.

М. П.

18/1 — 1926 г.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundations, is a non-profit corporation organized under the laws of the State of New York. It was founded in 1808 by John Jacob Astor, Lewis V. M. Lenox, and John A. Tilden. The library's collection is one of the largest in the world, with over 5 million volumes. It is open to the public and provides a wide range of services, including lending, reference, and educational programs. The library is located at 475 Fifth Avenue, New York, NY 10017. It is a member of the American Library Association and the International Association of Agricultural Librarians and Documentalists. The library's website is <http://www.nypl.org>.

M. H.

1911-1912

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ.

Большая часть предлагаемой книжки представляет собою стенограмму лекций, читавшихся в Зиновьевском университете в начале мая этого года. Это необходимо сказать в объяснение стилистических особенностей текста. Хотя у публики и существует предрассудок, будто стенограф записывает «слово в слово», на самом деле записать все слова возможно только при очень большой медленности произношения — при диктовке. В живой же речи самое большее, что может быть достигнуто — это не пропустить ни одной фразы и не исказить смысла. Данная стенограмма после правки этим требованиям вполне удовлетворяет: за смысл и содержание я ручаюсь, слова же и обороты речи весьма часто не мои. Как литератор, я бы во многих случаях выразился иначе — вероятно, иногда и сказал иначе, как лектор, но записывавшим не удалось схватить формы изложения, а только содержание. Для деловой цели — сообщить читающей публике известные факты и мысли по их поводу — этого вполне достаточно.

Там, где и этот скромный результат не мог быть достигнут, я предпочел взять печатный текст моих статей на те же темы (в «Вестнике Социалистической Академии» и «Под Знаменем Марксизма» — из последнего журнала почти целиком взята глава о Плеханове, с небольшой вставкой и еще менее существенным пропу-

ском). В одном случае — фактической критики взглядов Соловьева и Ключевского — я добавил то, что должно было войти в состав курса, но было при чтении опущено из-за недостатка времени.

Обращается книжка к той же читающей публике, какая слушала лекции, — к студентам наших Комвузов и Фон-ов. Это отнюдь не исследование, это просто маленькое пособие для первоначальной ориентировки при чтении основных не-марксистских или не совсем марксистских книжек по русской истории. В марксистской литературе такого пособия не существует, да и не-марксистские пособия на эту тему не идут дальше «рационализированной библиографии» — перечня авторов и названий, с кратким изложением содержания. Так что оправдывать появление в свет настоящего пособия как будто не приходится.

В виде приложения помещена моя статья из «Красной Нови» (1922 г., кн. VII) — «Правда ли, что в России абсолютизм существовал наперекор общественному развитию?». Тов. Троцкий во 2-м издании «1905» перепечатал свой ответ на эту статью; мне показалось целесообразным включить и в эту книжку, более доступную читателю, чем старый № журнала, то, на что отвечает тов. Троцкий.

М. П.

I.

Товарищи, позвольте в вашем лице приветствовать второй Коммунистический Университет, где я имею честь выступать. В Свердловском я уже действую довольно давно.

Вы — та новая школа общественных наук, о которой мы до сих пор только мечтали. И я должен сказать, уже не впервые за эту революцию мечты оказываются гораздо ближе к действительности, чем мы позволяли себе надеяться. Уже сейчас вы представляете совершенно своеобразное, оригинальное, не по какому-нибудь плану выдуманное, но созданное, действительно, самой жизнью, самой стихией революции учреждение.

Вы и есть, собственно, тот факультет общественных наук, о котором мы мечтали. С течением времени из Зиновьевского и Свердловского университетов выйдет та новая школа общественных наук, которая будет, действительно, марксистской — не потому, что там преподают марксисты, а потому, что там немыслима будет никакая история, кроме марксистской, и никакое студенчество, кроме пролетарского. В этом и заключается сущность преобразования высшей школы.

Не в том дело, чтобы в старую высшую школу посадить людей, знающих Маркса. Опыт показывает, к сожалению, что люди, великолепно знающие Маркса, попав на кафедру обычного университета, весьма скоро становятся похожими на самых заурядных уни-

верситетских профессоров. Чтобы не беспокоить никого из товарищей, близких к нам, я приведу вам классический пример — Кунова. Крупный марксист в прошлом, став профессором буржуазного берлинского университета, теперь пишет вещи, от которых не откажется любой буржуазный профессор того же берлинского университета. Так что не в этом дело, а в том, чтобы создать обстановку работы совершенно новую. В основе всего лежит дело, в основе всего лежит практика, а не теория. Самый способ вашей работы, живой и активной работы, а не мертвого слушания лекций, — этот способ и является наиболее ценной особенностью новой школы, из чего вы можете заключить, что мое появление на этой кафедре отнюдь не составляет необходимой части этой новой школы общественных наук. Несомненно, что я и всякий другой лектор, читающий лекции сотням людей, это, конечно, остаток старой школы в новом коммунистическом университете. Это нечто вроде остатка хвоста у человека — инструмент, в значительной степени ненужный. И моим величайшим счастьем будет момент, когда вы будете обходиться без таких лекций. Сейчас вы, к сожалению, обходиться без них, повидимому, не можете и здесь и в Свердловском университете. Поэтому приходится лекции читать, но курс мы держим на время безлекционное, когда ваши самостоятельные, активные занятия будут заполнять все время и когда ваше образование будет делом ваших собственных рук, только при помощи старших товарищей. Это — тот идеал, к которому мы должны стремиться. Идеал студента, как губка, пассивно впитывающего в себя мудрость профессора, — это идеал старой буржуазной школы, и с ним надо расстаться.

С этой точки зрения, — что нужно отправляться от практики, а не от теории, — я подхожу и к тому маленькому курсу, который я собираюсь вам прочесть. Так как у меня в распоряжении очень малое количество часов, так как, с другой стороны, мне кажется, что

вы достаточно осведомлены в конкретной стороне новой и новейшей русской истории, то я решил так: конкретного курса не читать. В какой бы области я мог бы вам дать что-нибудь новое, да и то не наверняка? Скорее всего в области истории XX века, но XX век в русской истории не уложишь в 8—10 часов. Это было бы нечто до такой степени скомканное, до такой степени конспективное, что читать это в форме лекций было бы и мне самому скучно и вам слушать не интересно. Я поэтому выбрал нечто другое. В то короткое время, которое вы здесь работаете, вы не можете ведь овладеть всей литературой по русской истории. Несомненно, вы будете пополнять те лекции, которые у вас читаются, самостоятельными занятиями дома, чтением дома. Что вы будете делать? Я допускаю, что вы читаете, конечно, и марксистские книжки по русской истории, вероятно, многие из них знаете наизусть, но в этих книжках далеко не все, что вам нужно. Вам постоянно придется обращаться к домарксистской литературе. И вот, тут налицо есть большая опасность, что вы отнесетесь к ней так же, как относятся многие товарищи, гораздо старше, гораздо опытнее, гораздо авторитетнее вас. Вы будете брать буржуазные книжки по русской истории совершенно так же, как вы берете книжки по физике, например, т.-е. как некоторую фотографию того, что есть в действительности. Когда в физике описываются явления электричества, то описывается то, что есть в действительности. Поэтому, если вы возьмете книжку с рисунками, чертежами и будете ее читать, эта книжка даст вам понятие, какое можно дать о явлениях электричества, не показывая их в виде лабораторного опыта. Это действительно так, и многим из нас кажется, что если вы возьмете книжки по русской истории, то вы найдете в них точно такую же фотографию известного исторического периода.

Возьмем «Историю Государства Российского» Карамзина. Она устарела, устарел подход, устарела

точка зрения, но все-таки, думает читатель, в ней изображается русская история от времен Рюрика до Смутного времени, на котором остановился Карамзин. По этой книге можно, стало-быть, ознакомиться с русской историей точно так же, как по учебнику физики вы знакомитесь с электричеством. Эту ошибку совершают многие товарищи, очень авторитетные. Они говорят: «Это установлено в науке», приводят ссылки на тот или другой курс Ключевского, Платонова, на работы Чичерина, Соловьева. «Это, — говорят, — факты, такие факты были». А между тем, дорогие товарищи, это вовсе не факты. Это идеология, т.е. отражение фактов — я не знаю как сказать — в вогнутом или выпуклом зеркале с чрезвычайно неправильной поверхностью.

Что такое идеология? Это есть отражение действительности в умах людей сквозь призму их интересов, главным образом интересов классовых. Вот что такое идеология. И в этом смысле всякое историческое произведение есть, прежде всего, образчик известной идеологии. Не следует смущаться тем, что там каждая строчка прибита цитатой, к каждой строчке примечание: «смотри летопись такую-то, том такой-то, страницу такую-то». Это ровно ничего не доказывает. Все идеологии состояются из кусочков действительности, совершенно фантастической идеологии не бывает, и, между тем, всякая идеология есть кривое зеркало, которое дает вовсе не подлинное изображение действительности, а нечто такое, что даже с изображением в кривом зеркале сравнить нельзя, ибо в кривом зеркале вы все-таки свое лицо узнаете по некоторым признакам: есть борода — нет бороды, есть усы — нет усов. Здесь же идеологически настолько может быть замаскирована действительность, что брюнет окажется блондином, бородатый человек окажется бритым, совершенно как херувим и т. д. Ко всякой исторической книжке надо иметь ключ — все равно, как имеешь ключ к шифру, — и только, когда вы су-

меете расшифровать историческую книжку, только тогда вы, действительно, будете в состоянии пользоваться ею. Повторяю, с крупнейшими и авторитетнейшими товарищами бывают случаи, что они, не имея этого шифра, на веру принимают ту абракадабру, которую представляет всякая шифрованная вещь, и воображают, что эта абракадабра есть, действительно, история.

Задачей моего курса является показать вам на нескольких примерах, — это можно сделать именно при помощи примеров и не в долгое время, — что представляет собою в действительности до-марксистская, а отчасти и марксистская, литература русской истории и как ее нужно расшифровать, чтобы воспользоваться ею. Прежде всего, в буржуазной науке, как и полагается, хороший шифровальщик старается скрыть, что перед вами шифрованный текст. Я вам приведу пример. Недавно Академия Наук выпустила книгу по методологии истории, заgrabное произведение покойного академика Лаппо-Данилевского. Там вы найдете изложение сотен сочинений по методологии истории. Изложение ведется так: берется книжка, из нее даются цитаты, дается ее сжатое содержание, резюме книги, затем соответствующие сноски; потом берется другая книга, третья; — все это расположено в хронологическом порядке и, в целях наибольшей объективности, ни звука не сказано о том, что за человек был автор, в какой обстановке возникла книга, какая общественная среда окружала автора, какая борьба происходила в этой общественной среде. Об этом нет ни звука. Это нарушило бы академичность и объективность изложения. В результате, читая Лаппо-Данилевского, вы никогда не догадаетесь, что стержнем, пронизывающим весь марксизм, является классовая борьба. Лаппо-Данилевский, когда был жив, вероятно, очень горд был чрезвычайной объективностью своего изложения, но эта объективность чисто публицистический прием. Это и есть зашифрованный текст. В самом деле, чего до-

стигает Лаппо-Данилевский таким изложением? Именно того, что этого самого стержня — классовой борьбы — вы не замечаете не только в марксизме, но и на всем протяжении исторической науки, которую излагает Лаппо-Данилевский. Вы не замечаете живых людей с их интересами и реальной общественной средой, которая их воспитала и выдвинула. Вы видите перед собой только книги, написанные в кабинете людьми, которые были совершенно оторваны от действительности и руководствовались соображениями «высшей истины» в четырех стенах своего кабинета.

Что нужно буржуазии? Да именно скрыть эту самую классовую борьбу, потому что, если она встанет на точку зрения классовой борьбы, она должна будет принять и социалистическую революцию, как ее завершение, т.е. подписать себе смертный приговор. Поэтому буржуазия всех стран всячески замаскировывает классовую борьбу, и отношение буржуазных критиков к историкам-марксистам именно тем и меряется, как данный марксист ставит классовую борьбу. Ставит он ее менее остро — отношение более благожелательное, ставит более остро — и отношение более острое. Чем острее и определеннее ставит классовую борьбу данный автор-марксист, тем непримиримее отношение к нему буржуазии, точно она сама от него заражается классовой точкой зрения. На самом деле, повторяю, для буржуазии чрезвычайно важно доказать, что классовой борьбы нет, потому что это значит, что буржуазия и буржуазная интеллигенция представляют весь народ. Как только они станут на классовую точку зрения, им придется признать, что их парламент классовой и, значит, не выражает интересов всего народа, что их литература классовая, что их наука классовая. Они должны будут это признать. Но если они замяли этот классовый момент, если они показали своему читателю, что существуют только отдельные ученые с их мыслями, а классов нет, если они классы угнали за пределы видимости, то они сведут концы с концами. У них

получится надклассовая наука, которая плавает как дух Иеговы над хаосом.

Вот почему книга Лаппо-Данилевского, на вид такая объективная, на самом деле является типичным образчиком классовой буржуазной публицистики в области истории. Только одним тем, что эта книга скрывает, как классовая борьба влияла на писание истории на протяжении веков, она уже этим самым делает дело определенного класса. И нам приходится, прежде всего, поставить на ноги то, что у Лаппо-Данилевского стоит на голове, — вернуть в историю ту классовую борьбу, которую он отрицает, подходить к каждому историческому произведению, как к продукту этой классовой борьбы. Если вы перестанете верить, что историческая книжка, написанная буржуазным историком, представляет моментальную фотографию исторического процесса, если вы поймете, что это — кривое зеркало, вы получите ключ к тому шифру, каким написана книжка.

Теперь позвольте перейти к конкретной части изложения. Историю влияния борьбы классов на писание русской истории приходится начинать задолго до того, как появились те исторические книжки, которые вам приходится читать, ибо не только сами эти книжки являются продуктом классовой борьбы, но и те материалы, на которых эти книжки основаны, тоже являются продуктом классовой борьбы. Многие из вас, — я думаю, что большинство, — помнят картину, изображенную Пушкиным в «Борисе Годунове»: летописца Пимена, пишущего свою хронику, «добру и злу внимая равнодушно, не ведая ни жалости ни гнева». Это первый исторический обман, с которым мы, учившиеся в средней школе, встречались в самом раннем возрасте. Фигуру этого летописца, бесстрастного, спокойного, «так, точно дьяк в приказах поседельей, спокойно зрит на правых и виновных» и т. д. — эту фигуру надо разрушить. Чрезвычайно любопытно, что теперь, под влиянием может-быть отчасти нашей заразы, начинают

расставаться с этим образом сами буржуазные исследователи. Вам, вероятно, приходилось слышать имя Шахматова (был такой академик, тоже скончавшийся недавно, работавший над летописями). Это — крупнейший специалист по русским летописям, какого выдвинула буржуазная наука в последнее время. Вот что он говорит о летописцах. «Наши летописи, — говорит Шахматов, — пристрастно освещали современные события. Рукою летописца управлял в большинстве случаев не высокий идеал далекого от жизни и мирской суеты благочестивого отшельника, умеющего дать правдивую оценку событиям, разворачивающимся вокруг него, и лицам, руководящим этими событиями, — оценку религиозного мыслителя, чающего водворения царства божия в земной юдоли. Нет, рукою летописца управляли политические страсти и мирские интересы». Он не договорился до того, что рукою летописца управляли классовые интересы. Но тогда Шахматов не был бы буржуазным исследователем. Но и буржуазные исследователи дошли в конце концов до того, что никакого бесстрастного Пимена никогда не существовало и что на самом деле летопись, такую сухую, такую далекую на первый взгляд от жизни, писали живые люди с плотью и кровью, и пером их руководили политические страсти.

Вот маленький образчик, которым я закончу первый час.

Этот маленький образчик касается одного факта, может-быть вам известного, хотя, к счастью, ваши головы не начинают той чепухой, какой начинали в свое время наши головы. Это — рассказ о начале русского государства, или, как короче говорят, «о начале Руси». Вы помните этот рассказ, как собрались разные племена — и чудь, и меря, и кривичи — и решили призвать из-за моря, из Швеции, князя Рюрика с братьями, которые бы «владели нами и княжили по ряду, по праву». Это стало поговоркой — «обратиться к варягам», «земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет» —

и т. п. Уже довольно давно еще буржуазные историки не могли не заметить явных, наглядных несообразностей этого рассказа. Прежде всего — как это разноязычные племена, пребывающие в состоянии большой дикости (о некоторых из них сам летописец говорит, что они жили «зверинским образом»), как они ухитрились создать такую учредилку, которая выбрала этого Рюрика и К-о, как это себе представить, — на каком языке объяснились они? Это одно. Вторая странность: где они стали искать себе князей? Послали к варягам! Что такое варяги? Норманны. Что такое норманны? Морские разбойники, которые дали повод добавить к «Отче наш»: «спаси нас от неистовства норманнов». Почему обращаются к этим разбойникам, чтобы они княжили и судили по праву? Это странно. Человека должны были бы вести на суд в качестве подсудимого и вдруг, когда его привели, его сажают на судейское кресло и говорят: «пожалуйте, милый человек, судите». Это напоминает стихотворение Гейне о царе Рампсените, который, после похищения у него драгоценностей, не нашел ничего лучше, как объявить:

Чтоб на будущее время
Прекратить сия хищенья,
Заявивши вместе вору
Нашу дружбу и почтенье,
Мы женить его на нашей
Дщери правильным находим
И, как будущего зятя,
В сан царевича возводим.

Но это — пародия, это — насмешка над королями, царями и т. д. Кто же в действительности делает такие вещи, чтобы взять вора и объявить его наследником престола? А славяне сделали это.

Займемся более детальным анализом фактов. По этому рассказу князья были призваны из-за моря править Русью для того, чтобы навести в ней порядок, прежде всего завести правильный суд, «иже бо судил нас по ряду, по праву». Но удалось восстановить пер-

воначальную запись, первоначальный текст русских судебных обычаев X века (а призвание князей совершилось в IX веке, за сто лет раньше). И вот удивительно: через 100 лет после призвания этого мирового судьи из уголовного отделения тюрьмы вдруг оказывается, что князь никакого участия в суде не принимал. Судят присяжные, 12 человек, а князь к суду отношения не имеет. Мало того, в той же летописи мы имеем ряд фактов, намечающих, как князь постепенно завладевает судебной властью, при чем попытки эти встречают сопротивление, и только в начале XI века князь, действительно, завладевает судебной властью прочно, — и главным образом, с финансовой стороны. Он берёт себе судебные пошлины, так что о том, чтобы судить по праву, он весьма мало заботится и в это время. Анализ того, что русские знали о своем прошлом в XI веке; показывает, что и в XI веке они ничего не знали о Рюрике, о первом князе, о призвании князей, и этот рассказ составлен только в начале XII века, так что мы имеем перед собой странный, с точки зрения даже буржуазной истории, факт. В начале XII века появился рассказ о том, как зачалось русское государство в середине IX века; буржуазные историки тут ставят точку. Да, говорят они, действительно в начале XII века, не раньше. Иные готовы признать еще, что мы имеем тут «странствующее сказание». Но почему именно этот рассказ, а не другой? Почему зашло к нам именно в начале XII века это странствующее сказание?

На этом буржуазная история останавливается. Между тем, тут мы имеем любопытный образчик того, как классовая борьба влияла на зарождение самых первых рассказов о начале русского государства. Кто является, нельзя сказать — автором, а компилятором начального летописного свода, той древнейшей части русской летописи, где мы находим рассказ о призвании князей? Это был Сильвестр Выдубицкий, на ко-

торого еще в начале XV века ссылались как на большой авторитет. Этот Сильвестр некоторым образом первый русский историк. Он был игуменом в монастыре св. Михаила в Киеве. Это был придворный, княжеский монастырь. Князья, не имея времени, за пирами и делами, сами молиться, но твердо уверенные, что до бога молитва все равно доходит, от кого бы она ни исходила, создавали общины монахов, которые — в то время, когда князья пировали, грабили, воевали, — молились за князя и его род. Это так же, как занятые советские работники держат секретарей, которые им пишут письма. Так богатые люди, князья, имели своих секретарей — монахов, которые молились богу, и молитвы их доходили, как доходят письма, написанные секретарями, хотя автор письма его и не создавал. Сильвестр Выдубицкий был игуменом такого придворного монастыря, человеком, близким к князю. Он написал свою летопись в 1116 г., когда игуменствовал в монастыре св. Михаила в Киеве, а княжил тогда Владимир Всеволодович Мономах; кончается летопись 1110 г. Что в это время происходило? На этот период падает вторая, более крупная киевская революция. Я не буду вам подробно изображать экономические условия Киевской Руси, поверьте мне на слово, что в то время в Киеве, под влиянием внешней торговли, начинал складываться купеческий, ростовщический капитал, который жестоко эксплуатировал массы киевского населения — и городского и сельского. У него в сетях были и мелкие торговцы, купцы, и ремесленники, и крестьяне. И драл он с них так, как драл деревенский кулак в царской России, 50% годовых. Это был законный процент, а сверх законного брали гораздо больше. Это было самое главное требование, которое в результате приводило к тому, что должник делался рабом своего кредитора. Это было буквально закабаление этими пиявками масс трудящегося населения. Но пиявки были неприкосновенны, потому что во главе их стояли две силы.

С одной стороны князь, тогдашний киевский князь Святополк Изяславович, был спекулянт и ростовщик; он спекулировал солью, предметом первой необходимости; на этом пути он столкнулся с Киево-Печерским монастырем, который также спекулировал солью, причем это столкновение привело к такому результату: мы узнаем, что монастырь примешивал к соли золу и таким образом увеличивал вес соли, не увеличивая затрат со своей стороны. Этот прием был раскрыт агентами князя, и на этой почве князь устроил монастырю, как своему конкуренту, скандал. Значит, это ростовщическое общество увенчивали князь и монастырь, и, куда ни сунется, бедный человек ничего не получает. Монастырь учит его, что надо терпеть, что за это он получит царство небесное; от властей тоже ничего не получишь. Народ терпел, терпел, но в 1113 году, воспользовавшись смертью Святополка и легким замешательством наверху, народные массы восстали. Летописец очень хотел бы изобразить это в виде еврейского погрома. Он рассказывает, как громили ростовщиков-евреев, но он должен был признаться, что евреи, собственно, только первые под руку попались, — они были более слабыми и беззащитными, ибо он тут же говорит, что при продолжении восстания досталось бы княгине-вдове, которая являлась обладательницей награбленного имущества, и монастырям. А что касается княжеских бояр, то их уже ограбили одновременно с еврейскими ростовщиками. Происходила социальная революция, — не социалистическая, но социальная: низы киевского населения встали на верхи. Верхи чувствовали себя так плохо, что решились на крутой поворот, на перемену династии. Они бросили Святополка с его потомками и вызвали к себе популярного князя Владимира Мономаха из Переяславля. Мономах оправдал свою популярность. Он явился в Киев, уговорил ростовщиков и духовных и светских — сделать большие уступки; годовые проценты были понижены с 50 до 20, рабство за долги было в значитель-

ной степени стеснено, закабаленные крестьяне получили право судебных жалоб на своих закабалителей. Словом, он значительно ослабил напряжение «мудрыми реформами», выпустил пары из котла, где их накопилось слишком много, и этим восстановил порядок.

И вот, как раз в этот момент его придворный игумен садится писать «откуда пошла русская земля». Теперь вы понимаете, откуда могли взяться все несообразности рассказа о призвании князей: князя к чему призвали? — для восстановления порядка. Так было при Владимире Мономахе. Он сел в Киев не совсем законно, он «пересел» киевскую династию. Чем это оправдать? Кто его призвал? Призвал его народ. В конце концов приглашение это было облечено в форму приглашения от города Киева. Так как исторической перспективы у Сильвестра не было, — он был человек простой, — ему и казалось, что то, что могло быть в городе Киеве в XII веке (столковались и призвали Владимира из Переяславля), то могло быть и в IX веке, когда кривичи, меря и другие племена собрались и позвали князя. Что тут удивительного? Зачем позвали Владимира Мономаха? Чтобы он установил порядок. Вот всегда так и было. А для кого был выгоден порядок? Выгоден он был для того общества, верхушки которого, уступками Мономаха, были спасены от гибели. Пришел Мономах и сказал: глупые люди, лучше уступите — живы останетесь, а драть с народа все-таки будете достаточно; а если не уступите, всех вас погубят, и ничего не останется. Этим он победил. Эта роль князя, как третейского судьи, восстановителя порядка, и была изображена Сильвестром в исторической перспективе. И само собою разумеется, не случайно эта роль князя была сделана стержнем всей начальной русской истории. Среди этого хаоса, который привел Мономаха на киевский стол, приходилось поддерживать с трудом восстановленный «порядок» всеми средствами, в том числе средствами пропаганды и агитации.

Нужно было внушить народной массе, какое высокое значение имеет княжеская власть, как нужно слушаться князя. В глазах тогдашней, почти сплошь безграмотной, массы всякая писаная строка казалась чем-то священным. Летопись имела громадный авторитет — на нее ссылались в политических спорах. Закрепить в летописи теорию высокого и благодетельного значения княжеской власти, образ князя, как праведного судьи, восстановителя порядка, — было чрезвычайно важно. Произведение первого русского историка преследовало, таким образом, определенные политические цели. «Начальный летописный свод» был, в сущности, агитационной вещью.

Таким образом, рассказ о появлении первых князей на Руси является отражением вовсе не тех событий, которые имели место где-то там, в земле кривичей, мери и др. в конце IX века, а событий, которые имели место в Киеве в начале XII века. Другими словами, этот рассказ отражает идеологию современников Владимира Мономаха, и притом тех его современников, которые стояли наверху, которые были заинтересованы в спасении себя от народного восстания разумными уступками и справедливым судом Владимира Мономаха. Таким образом, на самом пороге русской истории нас встречает форменная публицистика: первая «история» русской земли написана с определенной политической целью — возвысить значение княжеской власти и тем закрепить положение имущего класса.

Итак, не только наша историческая литература пронизана классовыми тенденциями, но и тот материал, на котором основывалась эта литература, — сам классовый, сам пронизан такими же классовыми тенденциями. И чем ближе к новому времени, тем, конечно, эти классовые тенденции гуще, потому что тем классовая борьба сознательнее. Если уже в XII веке мы встречаем ее отзвуки в летописи и эти отзвуки являются источниками целых легенд, то в XVI и

в XVII веках, веках напряженной классовой борьбы, этот классовый привкус уже гораздо гуще, гораздо определеннее. Какая-нибудь «гистория», написанная кн. Курбским, в сущности, есть памфлет, вышедший из определенного круга, из определенного общественного слоя, боярский памфлет. Это памфлет того класса, который потерпел поражение в столкновении с землевладельческими низами, был разграблен и отбивался публицистически, из-за границы. История Курбского, написанная им в эмиграции, есть литературный памфлет, которым он отбивался от своего врага. Таким же классовым произведением является и ответ Грозного Курбскому. Еще больше этот классовый налет, когда мы подходим к Смутному времени. Вам пришлось, вероятно, слышать выражение — Тушинский вор. Костомаров даже озаглавил одну часть своей «Истории Смутного времени» «Царь Василий Шуйский и воры». Вот — это слово вполне соответствует термину — «злоумышленник». Вор это человек, который злоумышляет на общественный порядок и спокойствие. Тушинский вор был вождем, правда номинальным больше, восставшего крестьянства и казачества, — поэтому он был вор; был «царик», а его противник — представитель имущих классов, буржуазии и боярства, каким был Шуйский, — был настоящий царь. С одной стороны царь, с другой — царик, царишка и вор. Вы догадываетесь сразу, откуда идут те исторические произведения, где такая терминология имеется. До нас дошли от этой эпохи только произведения имущих классов, что совершенно естественно, потому что восставшие в Смутное время крестьянские низы были неграмотны и сами, конечно, писать истории не могли. По отношению к этим низам мы встречаем, поэтому, в литературе «Смуты» «единый фронт». Классовая борьба внутри этой буржуазно-боярской литературы отразилась в конфликтах менее глубоких, между отдельными группами и оттенками правящего слоя. Но и этих мелких и неглубоких конфликтов

было достаточно, чтобы глубоко исказить довольно крупные факты. И опять конкретные события, которым долго все верили, которые вошли во все учебники, при подходе к ним с этой точки зрения оказываются мифом, оказываются легендой. Возьмем рассказ о том, как, по приказанию Бориса Годунова, был убит маленький Димитрий Иванович, сын Грозного. И тут мы опять имеем возможность сослаться на труд академика — нам везет сегодня на академиков, это уже третий, которого мне приходится цитировать — академика Платонова, где он признает этот рассказ, вошедший во все школьные учебники, легендой. Я должен сказать, что имею в этом отношении некоторое право первенства, потому что я на страницах своей «Русской Истории» давно доказывал, что это выдумка. И я был не один. Первые историки, доказывавшие легендарность этого рассказа, относятся еще к 30 годам XIX в., но их голоса не были слышны. Из истории одного писателя, который доказывал, что на самом деле Борис Годунов не убивал никакого Димитрия, была выдрана цензурой Николая I целая глава.

Зачем понадобилась эта легенда? Для того, чтобы утопить в грязи Бориса Годунова. А зачем это было нужно? Это мы легко поймем, если вспомним, что рассказ об убийстве Димитрия появляется в тогдашней литературе в первые месяцы царствования Василия Шуйского, давнего соперника Бориса Годунова, причем сам Василий попал на престол революционным путем, низвергнув и убив того, кто выдавал себя именно за сына Грозного, за якобы убитого Димитрия. И вот, вступивший на престол через труп своего предшественника царь рассылает исторический памфлет, явно сочиненный, по его приказанию, кем-то в его канцелярии, где доказывается, во-первых, что Димитрий был давно убит в Угличе — стало-быть, убитый Шуйским царь был, явное дело, самозванец, а во-вторых, что убивал маленького Димитрия в свое время именно Борис Годунов. Это был осиновый кол сразу в две

могилы. Приводится целый рассказ о том, как этот «рабо-царь», Борис Годунов, сел на престол, совершенно незаконно поправ права тех, кто имел эти права, т.е. самого Шуйского и его родичей, знатных бояр; как он убил Дмитрия, рассказывается подробно, а затем рассказывается, как явился расстрига, беглый монах Гришка Отрепьев, назвал себя царем и как затем был убит. Два трупа, через которые пришлось перешагнуть Василию Шуйскому, были оправданы. В этом памфлете вы впервые встретите указание на то, что Дмитрий был убит именно Борисом Годуновым, в то время как имеются подлинные, современные смерти Дмитрия, свидетельства об этой смерти, и там говорится, что он погиб жертвой несчастного случая. Целым рядом свидетельских показаний дядей царевича и окружавших его людей установлено, что он играл в дикую игру «тычку», бросая нож в цель, а у него была падучая, он был epileptик, он с ножом в руках упал в припадке, и нож, вонзившись в него, перерезал крупную артерию, из него полилась кровь, и кровью он изошел. Имеются официальные документы, следственное дело, которое вдобавок вел сам Василий Шуйский, автор или заказчик того памфлета, о котором я говорил. Но теперь Шуйскому нужен был не только законный повод для убийства царя Дмитрия Ивановича («Лжедмитрия I» наших учебников), ему нужно было еще кое-что: чудотворные мощи нового угодника божия. «Невинно-убиенный отрок» был великолепным материалом для этой последней цели. И Шуйский, легко позабыв, как он сам же производил следствие о кончине царевича Дмитрия от несчастного случая, перевозит из Углича в Москву тело «убитого» пятнадцать лет тому назад мальчика — и разумеется у тела сейчас же начинают происходить «чудеса». И «чудеса» эти еще в XIX веке мешали сказать правду о смерти Дмитрия и очистить от клеветы имя того царя, который стоял когда-то поперек дороги Василию Шуйскому. Только Октябрьская революция, по-

кончив со всеми мощами и «чудесами», от них происшедшими, разрешила академику Платонову сказать, что все это чепуха.

И рассказ о том, что Димитрий Иванович был монах-расстрига, который взял на себя имя Димитрия-царевича и под его именем облыжно вошел на московский престол, нужен был Василию Шуйскому для того, чтобы оправдать убийство царя и доказать, что он убил не царя. Какой же это царь, который облыжно взял на себя царское имя, всех обманул? Между тем, все больше и больше даже буржуазные историки склоняются к той мысли, что этот неизвестный человек во всяком случае не был самозванцем, не он назвал себя Димитрием, а другие называли его Димитрием, — правильно или нет, трудно сказать. Некоторые историки говорят, что это настоящий Димитрий и есть и что погибший от несчастного случая мальчик не был самим собой, что это был подложный царевич, которого подставили нарочно, чтобы запрячь настоящего. Это очень искусственное объяснение, товарищи; на нем я не настаиваю. Но несомненно, что первый Димитрий твердо верил в то, что он настоящий сын Грозного царевич Димитрий Иванович, и соответствующим образом действовал. Только потому и мог Шуйский его убить, что он твердо верил в свое царское происхождение и, веря в это, не помышлял о том, чтобы его свергли с престола, не принимал никаких мер предосторожности. Благодаря этому Василий Шуйский и другие заговорщики могли взять его, что называется, голыми руками, потому что, если бы он принял меры предосторожности, добраться до него было бы трудно. Таким образом, легенда о «самозванце» первом Димитрии — это такая же чисто политическая легенда, как и легенда о том, что настоящий или мнимый царевич Димитрий был убит по приказанию Бориса Годунова.

Нам приходится брать эти мелкие случаи потому, что литература, дошедшая до нас от Смутного вре-

мени, есть литература имущих классов, и ни одного произведения, которое отражало бы в себе точку зрения крестьянства, к сожалению, мы не имеем. Но это, конечно, заставляет нас относиться к этой литературе с сугубым недоверием и особенно критически рассматривать все ее показания. Если о Борисе Годунове мы находим в ней столько ядовитой лжи, пущенной в оборот Василием Шуйским, — а впоследствии его противники, главным образом, сторонники Романовых, умели рассказать не мало пахучих анекдотов о самом Василии, — то какой же «объективности» могли бы ожидать от тогдашних историков вождь восставшего крестьянства Болотников или тушинское правительство? Изучать народное движение «Смуты» по дошедшим до нас современным хронистам — то же, что изучать Октябрьскую революцию по «Русскому Слову»...

Эту довольно сухую материю, вас, вероятно, несколько утомившую, мне бы хотелось закончить веселым штрихом. Этот веселый штрих заключается в знаменитой «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина, который, по словам Пушкина, был Колумбом древней России, — открыл древнюю Россию, как Колумб открыл Америку. Эта фигура чрезвычайно любопытная, потому что в Карамзине, писавшем в начале XIX века, политическая публицистика под видом объективной истории приобретает особенно выпуклый и, я бы сказал, цинический характер. «История Государства Российского» — это не только публицистическое произведение, но это публицистическое произведение, корни которого для нас открыты. Я постараюсь рассказать вам это его собственными словами, рядом выдержек из его писем. Эта своего рода автобиография вам покажет, чего можно ожидать от «Истории» Карамзина, как научного произведения.

Первое письмо, которое приходится цитировать, Карамзин адресовал к тогдашнему попечителю Московского учебного округа, — как он тогда назы-

вался — куратору Московского университета — Муравьеву.

«Имея доказательства вашего ко мне благорасположения, а более всего уверенный в вашей любви ко славе отечества и русской словесности, беру смелость говорить вам о моем положении. Будучи весьма небогат, я издавал журнал с тем намерением, чтобы принужденною работою пяти или шести лет купить независимость, возможность работать свободно и писать единственно для славы — одним словом, сочинять Русскую Историю, которая с некоторого времени занимает всю душу мою. Теперь слабые глаза не позволяют мне трудиться по вечерам и принуждают меня отказаться от „Вестника“¹. Могу и хочу писать Историю, которая не требует поспешной и срочной работы; но еще не имею способа жить без большой нужды. С журналом я лишаюсь 6 000 рублей доходу. Если вы думаете, милостивый государь, что правительство может иметь некоторое уважение к человеку, который способствует успехам языка и вкуса, заслужил лестное благоволение российской публики и которого безделки, напечатанные на разных языках Европы, удостоились хорошего отзыва славных иностранных литераторов, то нельзя ли, при случае, доложить императору о моем положении и ревностном желании написать историю не варварскую и не постыдную для его царствования... Хочу не избытка, а только способа прожить пять или шесть лет; ибо в это время надеюсь управиться с Историею. И тогда я мог бы отказаться от пенсии: написанная История и публика не оставили бы меня в нужде. Смею думать, что я трудом своим заслужил бы профессорское жалованье, которое предлагали мне Дерптские кураторы, но вместе с должностью, неблагоприятною для таланта. — Сказав все и вручив вам судьбу моего авторства, остаюсь в ожидании вашего снисходительного ответа. Другого

¹ «Вестник Европы» — журнал, который издавал Карамзин.

человека я не обременил бы такою просьбою; но вас знаю и не боюсь показаться вам смелым. Вы же наш попечитель...»

Письмо послано 28 сентября 1802 года, и 31 октября состоялся высочайший указ: «В именном его императорского величества указе, данном кабинету, от 31 октября 1803 года, сказано: как известный писатель, Московского Университета почетный член, Николай Карамзин изъявил нам желание посвятить труды свои сочинению полной Истории отечества нашего, то мы, желая одобрить его в столь похвальном предприятии, всемилостивейше повелеваем производить ему, в качестве историографа, по две тысячи рублей ежегодного пенсiona из кабинета нашего».

Карамзин, рассказывает его биограф, «выразил свою благодарность почтенному покровителю следующим письмом, которое должно украшать и биографию Муравьева:

«Вам единственно обязан я милостью государя и способом заниматься тем делом, которое может быть славно для меня и не бесславно для России; к сему одолжению вы присоединили еще всю нежность души кроткой, чувствительной и тем возвысили цену его... Как вам приятно делать добро, так сердцу моему сладостно быть на-веки благодарным. Прошу вас, милостивый государь, изъяснить великодушному монарху усердную и благоговейную признательность одного из его вернейших подданных, который посвятит всю жизнь свою на оправдания его благодеяний».

Дело совершенно ясное. Император Александр I, взвесив все обстоятельства, убедился, что писатель заслуживает доверия, хочет посвятить дни свои писанию «Истории», которая бы прославила, между прочим, и царствование Александра, и дал ему за это определенную сумму денег. Совершенно ясная и определенная вещь. Так началась «История Государства Российского» Карамзина. Когда наш брат теперь напишет что-нибудь новое, — куда он идет? Он идет в Ком-

мунистическую Академию и там читает. Когда Карамзин написал первую главу «Истории» — что он сделал? Он поехал в Тверь, где в это время находился Александр I в гостях у сестры, Екатерины Павловны, и там Александру I читал первую главу своего произведения. Совершенно естественно — читают тому, для кого пишут. Писал Карамзин Александру по его заказу, ему и нужно прочесть. Мы пишем для нашей коммунистической публики и ей читаем, а он поехал царю читать. Совершенно естественно. Александр заслушался «Русской Истории» так, что позабыл следить за временем; когда Карамзин кончил читать, Александр, вынув часы, обратился к сестре и сказал: «Знаете ли, который час? уже 12. До полуночи засиделся, не заметив времени!». «История», таким образом, была одобрена. Карамзин, ободренный успехом, продолжал ее писать и в 1816 г. с готовыми 10 томами приехал в Петербург — не с первой главой, как с образчиком, а уже со всей «Историей». Тут начинается история с «Историей» Карамзина. Я не знаю, как вам читать, это длинно, но это до такой степени выразительно... Он приехал в Петербург, довел до сведения государя, что он привез «Историю», которая была ему заказана. Государь сказал, что пригласит его и выслушает в назначенное время, но не сказал — когда. Тут праздник замешался; это был мясоед — сначала Рождество, потом масленица все мешали. Сидит Карамзин и ждет и томится, что будет.

«7 и 8 февр. Будучи беспрестанно в движении, я не ступил почти ни шагу к главной цели. Один вельможа или боярин (ибо здесь нет вельмож, кроме одного графа Аракчеева, как сказывают) вымолвил моему приятелю такое слово: „Карамзин хочет, чтобы казна дала деньги на печатание его «Истории»; но сумма велика, и, вероятно, что по новым правилам экономии, ему откажут, или не откажут, да не дадут. В таком случае я с удовольствием предложил бы ему 50 тысяч для сего дела“. Я рад, что у нас есть такие

бояре, но скорее брошу свою „Историю“ в огонь, нежели возьму 50 тысяч от партикулярного человека. Хочу единственно должного и справедливого, а не милостей и подарков».

«11 февраля. От государя ни слова. Императрица Мария нередко говорит обо мне с другими, как мне рассказывают. — Что будет далее, не знаю; но знаю, что 10 марта (если не прежде) возьму подорожную, чтобы ехать к вам назад и более не заглядывать в Петербург, хотя не могу довольно нахвалиться ласками здешних господ и приятелей».

«18 февраля. Государь, как ты знаешь, обещался позвать меня в кабинет после праздников. Через два дня пост; но говенье опять может быть препятствием. Увидим. Добрые люди на всякий случай дают мне мысль продать свою „Историю“ тысяч за сто, то-есть, если не увижу государя еще недели три, или казна не выдаст мне денег для ее печатания. Покупщик, может-быть, найдется; но согласно ли это с достоинством Российской Империи и с честью историкографа?».

«24 и 25 февраля. Уже три недели я здесь и теряю время на суету: не подвигаюсь вперед и действительно имею нужду в терпении. Почти ежедневно слышу и в особенности через великую княгиню, что государь благорасположен принять меня — и все только слышу. Видишь, как трудно войти в святилище его кабинета. Вчера граф Капо д'Истрия (сидевший у меня три часа) в утешение говорил мне, что государь во все это время еще никого не принимал у себя в кабинете: следовательно, надо ждать. Буду молчать до третьей недели поста, а там скажу, что пора мне домой, как я уже писал к тебе».

Дальше разворачивается история. Оказывается, чтобы попасть в кабинет к Александру I, надо было пройти через кабинет Аракчеева, «единственного вельможи». Сначала думали, что Карамзин догадается это сделать сам, но он не догадывался. Тогда Аракчеев

прислал сказать, что он желал бы его у себя видеть. Карамзин думал, что приглашение относится к его брату, который был знаком с Аракчеевым, и то ли от скромности, то ли от гордости, не пошел. Пошел брат и произошло кви-про-кво: Аракчеев не узнал брата и стал выражать свое удовольствие по поводу того, что знакомится с великим историографом. Брат объяснил недоразумение, и тут-то выяснилось, что сомнений нет: Аракчеев желает видеть именно историка Карамзина. Тот надел мундир и завез свою визитную карточку Аракчееву. Все это время он питался слухами о том, что сказал государь, — то, что денег ему не дадут, то, что сделают его камергером. Среди этих томлений он появился у Аракчеева и имел с ним беседу. «Я отвез карточку к графу Аракчееву и на третий день получил от него зов; приехал в 7 часов вечера и пробыл с ним более часу. Он несколько раз меня удерживал. Говорили с некоторою искренностью. Я рассказал ему мои обстоятельства, и на вызов его замолвить за меня слово государю отвечал: „не прошу, ваше сиятельство; но если вам угодно, и если будет кстати“ и проч. Он сказал: „Государь, без сомнения расположен принять вас, и не на две минуты, как некоторых, но для беседы приятнейшей, если не ошибаюсь“. Пришел третий человек, его ближний, и разговор наш переменился. Слышно, что он думает пригласить меня к обеду. Вообще я нашел в нем человека с умом и с хорошими правилами».

Наконец, 16 марта (после 2 месяцев ожидания) мог написать Карамзин жене: «Милая, вчера в 5 часов вечера пришел я к государю. Он не заставил меня ждать ни минуты; встретил ласково, обнял и провел со мною час сорок минут в разговоре искреннем, милостивом, прекрасном. Воображай, что хочешь: не вообразишь всей его любезности, приветливости. Я хотел прочесть ему дедикацию: два раза начинал и не кончил. Скажи: тем лучше, ибо он хотел говорить со мною. Я предложил, наконец, свои требования:

все принято, дано, как нельзя лучше: на печатание 60 тысяч и чин, мне принадлежащий по закону. Печатать здесь, в Петербурге; весну и лето жить, если хочу, в Царском Селе; право быть искренним и проч.» (!!).

«Марта 17. Вчера я отвез карточку к графу Аракчееву: он догадается, что это в знак благодарности учтивой. Вероятно, что он говорил обо мне с императором».

«21 марта. Ты уже знаешь, друг бесценный, что государь пожаловал мне еще Анненскую ленту через плечо и самым приятнейшим образом».

Какая это типичная придворная история! И при свете этой истории вы легко понимаете отношение тогдашней либеральной публики к «Истории Карамзина», отношение, выразившееся в едкой эпиграмме Пушкина: «В его „Истории“ изящность, простота доказывают нам без всякого пристрастия: необходимость самовластья и прелести кнута». Это была, действительно, официальная «историография» той России, того режима, который привел декабристов к убеждению, что, не вырезав всех Романовых, нельзя сделать шагу вперед. Это была книга, написанная по заказу Александра I и для него — но нужно, чтобы она угодила и Аракчееву.

Нам теперь приходится выяснить прежде всего не тот угол зрения, под которым Карамзин смотрел на историю, а смысл той философии истории, смысл того подхода, который нашли нужным Александр I, Аракчеев, вообще все тогдашнее правительство, продиктовать Карамзину. Если мы подойдем с этого конца, то мы поймем основную идею Карамзина. Основная идея заключается в том, что Россия всегда спасалась единодержавием, объединением под одной властью. Возьмите царствование Екатерины II и Александра I. Что это были за люди? Это были великие собиратели земли. Екатерина II поделила Польшу и отрезала от нее громадный кусок в пользу Российской Империи;

Александр I захватил остатки Польши, привислинские губернии и Финляндию. В промежутке он укрепостил Закавказье, Грузию, нынешний Азербейджан, Армению и т. д. Надо было оправдать это собиpание земли новейшими царями, и вот Карамзин собиpание русской земли делает стержнем всего русского исторического процесса. Сначала собиpал Рюрик или, во всяком случае, Владимир. Ярослав, по глупости, pазделил собранное между своими детьми. Приходилось собиpать сызнова. Собиpали Иван Калита, Иван III, собиpал Иван Грозный. Потом стали собиpать Романовы, Екатерина II, Александр I. Правда, собирали они довольно своеобразно: они собирали то, что лежало в чужих карманах.

И вот их историкограф, который пишет по их заказам, из этого собиpания делает смысл всей русской истории. У него все сводится к этому собиpанию. Значит, для того, чтобы понять, pасшифровать «Историю» Карамзина окончательно, нам остается одно — узнать, чем руководилось это собиpание. И тут мы без труда увидим ту классовую силу, которая стояла за «собиpателями». Собиpание Руси с самого начала Московского княжества и до Александра I двигалось совершенно определенным экономическим фактором, — этим фактором был торговый капитал. Для торгового капитала чрезвычайно важны были размеры территории, на которой он действует, потому что, чем шире территория, находящаяся в монопольном обладании торгового капитала, тем крупнее его оборот и тем больше его прибыль. Отсюда наклонность государств торгового капитала собиpать землю. Французский торговый капитал заставил французских королей собиpать Францию. Торговый капитал XVI века повел к образованию громадной империи Карла V, в пределах которой не заходило солнце. Торговый капитал всегда и всюду вел к собиpанию земли, потому что ему экономически было нужно объединить в одних руках громадную территорию. И, изучая шаг за шагом

историю так называемой Российской Империи, вы видите, что это есть ряд завоеваний торгового капитала, под влиянием которого складывается Империя, собираются земли. Источником собирания земель служили, с одной стороны, завоевания на Востоке, а с другой — отнятые области на Западе, у Польши, у Украины. Торговый капитал тянул к себе все новые земли и, в конце концов, при Николае I начал распухать за географические пределы русской равнины, попытавшись втянуть в круг своих действий и Персию, и Турцию, и даже Среднюю Азию.

Если вы подойдете с этим ключом к Карамзину, вы не только поймете его «Историю», поймете, почему торговый капитал, о котором ни слова не говорится в «Истории», вел эту «Историю» к собиранию земли, но вы поймете и физиономию Карамзина как общественного типа, вы поймете, почему он был сторонником крепостного права, почему он был противником освобождения крестьян: потому что торговый капитал у нас в России создал барщинное хозяйство, как средство выжимать из крепостных крестьян прибавочный продукт для рынка. Торговому капиталу необходим был аппарат в виде крепостного права, — торговый капитал был настоящий царь, который стоял за коронованным, в сущности, призраком или, если хотите, за коронованным манекеном, был настоящей руководящей силой, которая создала и Русскую Империю и крепостное право.

Теперь представьте себе, что наивный человек возьмет и начнет читать «Историю» Карамзина, рассматривать ее как фотографию того, что происходило в России, на протяжении с IX по XVI века. Вы согласитесь со мною, что этот человек будет в чрезвычайно глупом положении, потому что он не знает самого основного, у него нет ключа к этой загадочной летописи. Только когда у вас будет ключ, вы не будете обращать внимания на все это собирание Руси, потому что это нужно Карамзину для его публицистических целей, но вы

вышелушите из этого те факты, которые он взял из разных источников. Правда, вам придется произвести работу и по отношению к этим фактам, но вы будете и тут иметь ключ к тому, как возникли эти факты, и только таким образом вы в состоянии будете использовать и Карамзина и его источники. Если же вы все это упустите из виду и будете рассматривать Карамзина как идеального историка, который из интереса к прошлому занимался писанием русской истории, вы, конечно, ничего у него не поймете и будете им обмануты, как была им обманута когда-то вся наша школа. Та школьная история, которую вы, к счастью, не изучали, действительно строила всю русскую историю по линии собирания Руси и в этом собирании видела громадную заслугу русских государей в прошлом и весь смысл существования русского народа. При чем на вопрос — а зачем нужна вся эта куча земель, собранных под одной властью, зачем нужно, чтобы не понимающий русского языка финляндец, не понимающий его грузин, присягали на подданство русскому царю, — история ответа дать не могла. Ответ на это дает классовая точка зрения.

На этом я заканчиваю характеристику чисто публицистического периода русской истории. То, что пойдет дальше, будет иметь больше отношения к науке, поскольку у этого дальнейшего и у нас есть общий корень. После Карамзина я перейду к гегелевской школе в русской истории. Гегелевская школа — в родстве с марксизмом, но это не мешает ей подчиняться на всем протяжении определенным классовым интересам, и, мало того, даже первые зачатки материалистического понимания истории в России, — хотя это был уже маленький шаг в настоящую науку, — были вызваны также интересами определенного класса и носят на себе его отпечаток.

II.

Та теория, которая сводила весь смысл русской истории к образованию огромного (его считали равным $\frac{1}{4}$ части всей суши) государственного тела, именуемого Российской Империей, и которая нашла свое выражение в «Истории» Карамзина, эта теория устарела уже, можно сказать, в день своего появления.

Уже в 20 гг. XIX века в ученом мире с Карамзиным почти не считались; он был тем оселком, на котором пробовали свое научное остроумие молодые историки. И только широкая публика, которая увлекалась, главным образом, манерой изложения, продолжала его еще читать, да авторы учебников, частью поневоле, по долгу службы почерпали из Карамзина философию русской истории. Такое быстрое устарение исторической теории, связанной с торговым капитализмом, характерно для быстроты экономического и общественного развития России.

Когда Карамзин кончил свой труд, вдохновлявшийся интересами торгового капитала, в России сложился промышленный капитализм, требовавший новых точек зрения всюду, между прочим, и в истории.

С точки зрения занимательности надо было бы постепенно подвести вас к этой теории, показать, как постепенно, под давлением промышленного капитала, складывалось это понимание. Но в данном случае, я думаю, надо пожертвовать занимательностью ради педагогического интереса, и поэтому я вам дам эту теорию в двух словах, а затем вы проследите, как она складывалась, откуда брались ее отдельные элементы. Эту теорию вы встретите всюду, до первых страниц книги т. Троцкого «1905» и до введения к «Истории русской общественной мысли» Плеханова включительно. Из старых экономических материалистов от нее отделился только Н. А. Рожков, и хотя он и несовершенный исторический материалист, но это его большая

заслуга; другие от нее отделаться не могли. Поэтому, какую бы книгу по русской истории вы ни взяли, вы на эту теорию наткнетесь. А состоит эта теория вот в чем:

Общество создано государством. Государство, во имя своих интересов, образовало в России общественные классы, которые в юридической государственной оболочке получили у нас форму сословий. Благодаря тому, что у нас общество создано государством, у нас иные отношения между обществом и государством, чем они были на Западе. На Западе сословия ограничивали государственную власть, — в России они не могли ее ограничить по той причине, что они сами являются созданием этой государственной власти. Поэтому в России не было и классовой борьбы в том развернутом виде, в каком она существовала в Западной Европе; русская история гораздо более монотонна, более однообразна, чем западная.

Государство создало сословия и прикрепило каждое из них к своему тяглу: дворянство — к военной службе, купечество — к торговле, крестьянство — к земледелию на пользу государства и дворянства.

Затем, когда государству уже не требовалось больше это прикрепление сословий, началось раскрепощение. В XVIII веке сняты были повинности с дворянства; в начале XIX века получило гражданское равноправие купечество, а в середине XIX века — в 1861 г — были освобождены и крестьяне. Таким образом, сначала все русское общество было закрепощено создавшим его государством, а потом государство раскрепостило, сняло тягло.

Вот в двух словах та историческая теория, которой мы сегодня займемся.

Несмотря на то, что эта теория звучит крайне националистически, несмотря на то, что она подчеркивает отличие русской истории от истории других европейских народов, — несмотря на это, теория эта происхождения не русского, а западно-европейского,

можно даже сказать шире — всемирного, ибо она отражает в себе интересы промышленного капитала и промышленной буржуазии, интересы которой были тождественны всюду, не только в Европе, но и в Америке, позднее в Китае и в Африке. Отсюда эта теория имела бы все шансы быть усвоенной и китайцами, и неграми Конго, и разными другими народами, до которых блага капитализма еще не дошли.

Вы видели, что бог-творец русской истории по этой схеме есть государство. Почему же государство заняло такое положение в этой схеме? Почему Карамзин не вел своего государственного бога дальше образования территории, а вот этот новый бог — бог промышленной буржуазии — оказался творцом всего общества? Да по той причине, что торговый капитал не вмешивался в производство. Он оставлял крестьянина на своем наделе, ремесленника в своей мастерской, купца в своей лавке и только эксплуатировал их системой домашнего производства, — производители сидят у себя по домам, а капитал их эксплуатирует, тянет из них жилы, делает их источником своего дохода, но в их производство не вмешивается. Путем внеэкономического принуждения капитал заставляет их делать то, что ему нужно. С этой целью в России торговый капитал создал крепостное право и барщинное хозяйство, чтобы выжимать из крестьян продукты для рынка. Промышленный капитал не может оставить крестьянина у себя на земле, он должен отнять у него надел, пролетаризировать крестьянина, чтобы получить из него рабочего для фабрики. Он не может оставить ремесленника в своей мастерской, он должен стянуть у него мастерскую и превратить его в пролетария. Таким образом, задача промышленного капитала гораздо революционнее сравнительно с задачами торгового капитала. Вот почему промышленный капитал нуждается в ломке тех отношений, какие для торгового капитала безразличны, или которыми торговый капитал даже пользуется, очень хорошо пользуется —

они ему нисколько не мешают. Промышленному капиталу нужен был поэтому молот, которым он мог разбивать все оставшиеся от средних веков социальные перегородки. Этим молотом в руках промышленного капитала и было то новое буржуазное государство, которое характеризуется именно отсутствием глухих перегородок между общественными группами и превращением всего населения в две группы — с одной стороны, владельцы орудий производства, капиталисты, с другой стороны — пролетариат. Это — цель, которую ставит историческому процессу не только субъективно наша теория капиталистического общества, но и объективно само капиталистическое общество стремится именно к этой цели. Государство, ломающее все социальные перегородки и тем очищающее, как мощный таран, дорогу промышленному капиталу, естественно, должно было явиться в руках этого капитала силой, если хотите — божественной силой, которая выше всего, силой, которой ничто не может противиться. Вот откуда взялась эта национально, как будто русская, а на самом деле, повторяю, вовсе не русская, а классовая, буржуазная, промышленно-капиталистическая теория всемогущего государства, творящего общество. Я изложу вам эту историческую схему словами того, кто в русской исторической литературе может считаться основоположником этой теории. Обращаю ваше внимание на то, что эти строки написаны в конце пятидесятих годов XIX века, приблизительно, значит, лет 70 тому назад, или несколько меньше.

«Гражданское общество составляет вторую ступень в историческом развитии нашего отечества. В первую эпоху, на заре истории, мы видим союз кровный; затем является союз гражданский, наконец — союз государственный. Первый составляет первоначальное, естественное проявление человеческого общества. Человек — существо общежительное; вне общества он никогда не жил и не может жить. Но это стремление

к общественности выражается в нем сначала бессознательным образом; оно лежит в нем как естественное определение его природы и проявляется в союзе, данном самою природою. Это союз кровный, происшедший из нарастания семьи. Люди связаны здесь сознанием об единстве происхождения; личности еще не выделились и составляют массу, имеющую одни нравы, одно наречие, одни верования и расчленяющуюся внутри себя по естественным, физиологическим определениям: семья, род, колено, племя... Этот союз, основанный на сознании естественного происхождения, должен однако распасться при более или менее частых столкновениях с другими народами, при вторжении чужестранных элементов, которые достаточно крепки, чтобы не поддаться силе кровного быта, наконец, при развитии человеческой личности. Такое разложение совершилось у нас с появлением варяжской дружины, основанной на договоре лиц свободных. Принесенные ею элементы, смешавшись с прежними, образовали порядок вещей, совершенно отличный от предыдущего. Общественное единство, которое коренилось в сознании кровной связи, рушилось; личности, не сдержанные более в своих стремлениях тяготением общего, господствующего обычая, предались своим частным интересам; отношения родственные, договорные, имущественные, — одним словом частное право, — сделались основанием всего быта, точки зрения, с которой люди смотрели на все общественные явления. Так произошел союз гражданский, образовавшийся из столкновений и отношений личностей, вращающихся в своей частной сфере. Общественною связью служило либо имущественное начало — вотчинное право землевладельца, либо свободный договор, либо личное порабощение одного лица другим... личность во всей ее случайности, свобода во всей ее необузданности лежали в основании всего общественного быта и должны были вести к господству силы, к неравенству, к междоусобицам, к анархии, которая подрывала самое суще-

ствование союза и делала необходимым установление нового высшего союза — государства. Только в государстве может развиваться и разумная свобода и нравственная личность; предоставленные же самим себе, без высшей, сдерживающей власти, оба эти начала разрушают сами себя. Необузданная свобода ведет к порабощению слабого сильным; личность, выражающаяся в преимуществах чисто индивидуальных, ведет к уничтожению внутреннего достоинства человека. Таков диалектический процесс различных общественных элементов».

Эти слова — «диалектический процесс» — для тех из вас, кто знает историю марксизма, уже задают вопрос — не ученик ли Гегеля написал это? Да, это так. Я вам прочел цитату из одной статьи Чичерина. Он был первым и самым популярным из русских гегельянцев. Гегелевская философия, — не национально-русское явление, а мировое, — отразила в себе интересы промышленного капитала в области понимания истории. И вы поглядите, как все здесь хорошо сложено. Почему нужно государство с точки зрения этой теории? Потому, что без него мы имеем хаос отдельных личностей. Другими словами, система капиталистического общества держится вовсе не какой-нибудь внутренней экономической гармонией, как утверждают вульгарные экономисты, разоблаченные в свое время Марксом, — эта система держится на полицейской диктатуре буржуазного государства. Вам это трудно втолковать, потому что вы не видели этого буржуазного государства во всей его прелести, но читали книжки, написанные об этом буржуазном государстве, а в этих книжках читали определенную ложь об этом государстве, как о царстве свободы, ибо русские интеллигенты принимали за чистую монету то, что говорилось о свободе в западно-европейских конституциях. Главным образом потому с русским интеллигентом происходила такая ошибка, что он не жил в качестве обывателя в этой самой свободной буржуаз-

ной общественности, а приезжал за границу в качестве туриста, — ну, турист, путешественник, из окон вагона и из своей гостиницы всей жизни страны не увидит, тем более, что для туриста, дабы его не отпугивать, во всех буржуазных государствах было заведено более льготное положение, чем то, которое существовало для туземцев. Но, когда вы попадали в положение туземца, — как мне пришлось прожить в Париже 8 лет, — то поневоле смотрели не с точки зрения гостиницы и железнодорожного вагона, а с точки зрения коренного жителя страны. И что поражало в свободной демократической республике, называемой Францией, это колоссальный культ городского, — культ городского, который я слабым своим языком не могу изобразить. Это нечто невероятное и непонятное. Городовой для доброго французского буржуа — это богоподобное существо, оскорбление которого карается примерно так, как у нас при царском режиме каралось оскорбление Иверской богородицы, или что-нибудь в этом роде. Когда известный, в то время крайне левый социалист, а позже крайне правый националист, — Густав Эрвэ, за несколько лет до войны, по случаю особенно возмутительного образчика французского полицейского произвола, высказался как следует в одной своей статье о французской полиции, т.-е. подобающим образом изобразил ее прелести, его на три года отправили в каторжную тюрьму. Кто же туда его отправил? Отправили присяжные свободной страны; его статья на них произвела такое впечатление, какое произвел бы у нас 20 лет назад камень, пущенный в Иверскую часовню. Когда я, не один раз соприкасавшийся с русской полицией в качестве «политического преступника», попал в парижский участок в качестве простого обывателя, мое впечатление было ни с чем не сравнимо, — это сверх-участок, там с вами не разговаривают, на вас орут, дают понять, что чуть что — вас исколотят вдрызг. У нас могли исколотить забастовщика, но там колотят и домовладельцев. В один

из парижских участков зашел случайно по своему частному делу местный домовладелец, которого в участке не знали в лицо. В участке в это время ждали кого-то, кто должен был подвергнуться избиению. Домовладельца схватили дюжие городовые и исколотили. Потом выяснилось, что это почтенный буржуа, но это не имело никаких последствий, газеты об этом не кричали, никого не судили: божество иногда ошибается. Господь бог ошибается: нужно солнце, а он шлеп дождь.

Эти несколько анекдотов я привел для того, чтобы наглядно нарисовать вам полицейскую диктатуру буржуазного государства, при помощи которой это своеобразное божество справляется с хаосом буржуазного хозяйства, ставит каждого на свое место, поддерживает твердую руку хозяина. Вот для чего нужно это государство промышленному капиталу. Это отнюдь не простая фраза; это нечто абсолютно необходимое, и философия Гегеля, отразившая в себе буржуазную французскую революцию, одним своим крылом, правым, обоготворила это государство. Но гегелевская философия отражала не только буржуазную эволюцию, но и буржуазную революцию. Гегель с удивительной для прусского тайного советника и казенного профессора Берлинского университета откровенностью признал роль насилия в истории. Вы помните, что в его диалектическом процессе история не гнушается ничем. Он прямо говорит: ничто великое в мире не совершается без страсти; в своем бурном стремлении историческая диалектика пользуется не только насилиями, но даже прямо преступлениями. Таким образом, диалектика Гегеля не останавливается ни перед чем. Слово «диалектика» и даже понятие есть у Чичерина, но вы тщетно стали бы искать в русской исторической литературе этого направления, этой стороны гегелевской диалектики, ее революционной стороны. Наоборот, самая мысль о возможности насилия в государственных делах приводила Чичерина в ужас, и когда он нашел в одной

статье Герцена «воззвание к топору», он разразился против Герцена ругательной статьей, из которой я позволю прочесть выдержку:

«На каждом из нас, на самых незаметных деятелях, лежит священная обязанность беречь свое гражданское достоинство, успокаивать бунтующие страсти, отвращать кровавую развязку. Так ли вы поступаете, вы, которому ваше положение дает более широкое и свободное поприще, нежели другим? Мы в праве спросить это у вас, и какой дадите вы ответ? Вы открываете страницы своего журнала безумным воззванием к дикой силе; вы сами, стоя на другом берегу, с спокойной и презрительной иронией указываете нам на палку и на топор, как на поэтические капризы, которым даже мешать неучтиво. Палка сверху и топор снизу — вот обыкновенный конец политической проповеди, действующей под внушением страсти... Нет, всякий, кому дорога гражданская жизнь, кто желает спокойствия и счастья своему отечеству, будет всеми силами бороться с такими внушениями, и пока у нас есть дыхание в теле, пока есть голос в груди, мы будем проклинать и эти орудия и эти воззвания».

Как видите — это гегельянец особого толка. Из философии буржуазной революции осталась только первая половина — прилагательное «буржуазная», а существительное «революция» куда-то исчезло. Таким образом, нельзя просто сказать, что Чичерин был гегельянец; приходится назвать его своеобразным русским гегельянцем, принимавшим Гегеля без революции. Но нам интересно объяснение с классовой точки зрения, откуда взялось то национальное, своеобразное гегельянство, которое отразилось в теории Чичерина? Его статьи, заключающие в себе квинт-эссенцию его исторического мировоззрения (знаменитые «Опыты по истории русского права»), написаны в конце 50-х гг. XIX века, буквально накануне освобождения крестьян. Некоторые из этих статей представляют собой прямой ответ на вопрос: откуда взялось то крепостное право,

которое сейчас, завтра, после завтра будет ликвидироваться. Кто был Чичерин по своему классовому положению? Это был, во-первых, тамбовский помещик и, во-вторых, профессор государственного права в Московском университете. В этих двух своих ипостасях он должен бы быть сторонником мирной ликвидации крепостного права. При Александре II трудно было представить себе на кафедре профессора-революционера, еще труднее было представить себе, чтобы тамбовский помещик желал насильственной ликвидации крепостного права, которая угрожала бы кровавой ликвидацией ему самому.

Между тем, операция была довольно трудная. Вы, конечно, знаете уже из общего курса русской истории, что само освобождение было самое последнее дело, стоявшее на самом последнем плане. Дело было не в освобождении, а в том, чтобы заставить крестьян уступить помещикам часть своей земли и при этом, лишившись части своей земли, уплатить помещику некоторую сумму денег, дабы у помещиков были и земля и капитал для заведения нового, батрацкого хозяйства на этой земле. Эта операция была невыразимо трудная и сложная. Как устроить так, чтобы крестьянин отдал землю, да еще и заплатил за это деньги? Согласитесь сами — это не так просто. То, что крестьяне ответили приблизительно двумя тысячами восстаний на эту свободу, это было гораздо ниже ожиданий, которые были у Чичерина и у тогдашнего правительства. Александр II почти прямо говорил, что, когда крестьянин увидит ту волю, которую он ему дает, то он взбунтуется, — и требовал назначения всюду генерал-губернаторов с самыми широкими, неограниченными полномочиями, чтобы заставить крестьян эту волю признать. Александр II не был гениальным человеком, но эту простую вещь он понимал. Это понимал лучше его профессор Чичерин. «Вспомните, — говорит он Герцену, — в какую эпоху мы живем: у нас совершаются великие гражданские преобразования, распутываются отношения,

созданные веками. Вопрос касается самых живых интересов общества, тревожит его в самых глубоких недрах. Какая искусная рука нужна, чтобы примирить противодействующие стремления, согласить враждебные интересы (т.-е. крестьян и помещиков), развязать вековой узел, чтобы путем закона перевести один гражданский порядок в другой. Здесь также есть борьба (о, конечно, здесь также есть борьба!), но борьба обдуманная, осторожная. В такую пору нужно не раздувать пламя, не растравлять язвы, а успокаивать, чтобы вернее достигнуть цели. Или вы думаете, что гражданские преобразования совершаются силой страсти, кипением гнева?». Попробуйте к мужику подойти и сказать: давай деньги и еще землю в придачу. Нужна была искусная рука, а в это время Герцен начинает говорить о палке, топоре и других неудобных вещах.

Итак, вы понимаете, что из гегелевской формулы, по существу сводившейся к «буржуазной революции», Чичерин мог принять только первую часть — «буржуазная», — а вторую часть — «революция» — он принять не мог. Как раз в России в то время для класса, к которому принадлежал Чичерин, складывались такого рода отношения, при которых революция была совершенно не желательна и не нужна. Только в этой связи мы и понимаем ту своеобразную форму, которую приняла диалектическая теория в России и которую я вам вкратце изложил в начале лекции, эту самую теорию закрепощения и раскрепощения. Что нужно было доказать Чичерину? Во-первых, что все крупные общественные перемены в России совершились сверху, силою всемогущего государства — стало-быть, так должна была совершиться и предстоящая перемена в отношении крестьян и помещиков. Во-вторых, что воля государства при этом не встречала противодействия, перемены происходили мирно, без революции. Теперь возьмите краткое резюме теории «закрепощения и раскрепощения» в собственном изложении Чичерина.

«Таковы указы об укреплении крестьян. Из последнего видно, что неурейства, происшедшие от укрепления не полного, повели к укреплению полному. — Если мы на эти постановления взглянем отрешенно от существовавшего в то время порядка вещей, то нам покажется весьма странным и непонятным делом уничтожение одним указом свободы целого сословия, которое искони пользовалось правом перехода. Но если мы рассмотрим их в связи с другими явлениями жизни, в связи с предыдущей историей, мы убедимся, что в этом не было ничего исключительного и несправедливого. Это было укрепление не одного сословия в особенности, а всех сословий в совокупности; это было государственное тягло, наложенное на всякого, кто бы он ни был. Все равно должны были всю жизнь свою служить государству, каждый на своем месте: служилые люди на поле брани и в делах гражданских, тяглые люди — посадские и крестьяне, отправлением разных служб, податей и повинностей, наконец, вотчинные крестьяне, кроме уплаты податей и отправления повинностей, также службою своему вотчиннику, который только с их помощью получал возможность исправлять свою службу государству. Служилые люди не были укреплены к местам, ибо служба их была повсеместная. Тяглые же люди, как мы уже видели, считались крепостными и не могли уходить со своих мест. Невозможно было не распространить этого положения и на вотчинных крестьян. Во времена всеобщего укрепления это было бы несправедливым исключением.

«Итак, этот переверот в судьбе крестьянского сословия был необходимым последствием условий тогдашнего быта. Но каким же образом мог он совершиться без сильных потрясений. Только в пословице: „вот тебе, бабушка, и Юрьев день“ сохранилось о нем воспоминание в народа. Мы найдем этому объяснение, если взглянем на способ укрепления бояр и служилых людей. Последние также пользовались правом перехода: „а боярам и слугам вольным воля“. Но когда

уничтожилась удельная система, московские государи стали требовать, чтобы они перестали отъезжать. И вот, без переворота, даже без указа, бояре и служилые люди из вольных слуг сделались крепостными и стали писаться холопами. Дело в том, что требованиям государства ни бояре ни крестьяне не могли противопоставить такого деятельного сопротивления, как, например, феодальные владельцы на Западе. Они были для этого слишком разрозненны. Бояре и слуги могли протестовать только бегством да крамолами; их сделали холопами, а они все-таки продолжали отъезжать. Точно так же и крестьяне, несмотря на укрепление, продолжали уходить тайком. Весь XVII век наполнен исками о беглых крестьянах. Даже бедствия Смутного времени должно приписать, главным образом, этому протесту боярства и крестьянства против требований государства. Но последнее взяло, наконец, верх, потому что на стороне его было право. Оно не делало исключений ни для кого; оно от всех сословий требовало посильной службы, необходимой для величия России. И сословия покорились и сослужили эту службу. До самых времен Екатерины продолжалась эта система повинностей, которая лежала в основании всех учреждений того времени. Но, когда государство достаточно окрепло и развилось, чтобы действовать собственными средствами, оно перестало нуждаться в этом тяжелом служении. При Петре III и Екатерине с дворянства сняты были его служебные обязанности. Жалованною грамотою 1785 года оно получило разные права и преимущества, как высшее сословие в государстве; оно получило в собственность и поместные земли, которые сначала даны были ему только как временное владение для содержания на службе. Это была награда за долговременное служение отечеству. Городское сословие также получило свою жалованную грамоту, и оно освободилось от повинностей и службы, приобрело различные льготы и преимущества. Оставались одни крестьяне, которые, подпавши под част-

ную зависимость и приравнявшись к холопам, доселе несут свою пожизненную службу помещикам и государству. В настоящее время уничтожается, наконец, и эта последняя принудительная связь: вековые повинности должны замениться свободными обязательствами. В настоящее время окончательно разрешается та государственная задача, которая была положена в XVI веке, и начинается для России новая пора».

Почему нужно было государство-бог, которое творило сословия, которое их закрепощало и раскрепощало? Да потому, что это давало историческое оправдание готовящемуся акту 19 февраля. Кто создал крепостную неволю? Государство. Кто ее должен ликвидировать? Конечно, государство. — «Я тебя породил, я тебя и убью»,—могло бы сказать это государство словами Тараса Бульбы, обращаясь к крепостному праву. Оно создало крепостное право из государственных соображений. Новые государственные соображения крепостное право отменяют. Чичерин утешает своего читателя тем, что в прежнее время закрепощение прошло без всякого сопротивления со стороны крестьян. Только, говорит, пословица: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», осталась. Так же безболезненно пройдет и новая, предстоящая (в 1858 году дело было) операция над крестьянами. Вы видите, как тут объяснение истории переходит в фальсификацию истории, фальсификацию, вероятно, бессознательную. Чичерин слишком крупный мыслитель, чтобы его можно было подозревать в грошевых передержках, но как он смазал Смутное время, куда он спрятал Разина, куда он спрятал Пугачева? Да разве одного Пугачева было не достаточно, чтобы оценить, как крестьяне реагировали на закрепощение? А у нас был не один Пугачев, был еще Разин, а раньше Смутное время с Болотниковым. Это значит выкинуть из русской истории чуть ли не половину. Она выбрасывается потому, что она мешает схеме. Осталась только поговорка: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», а полторы тысячи повешенных Пугаче-

вым помещиков — ну, это так, это беспорядок, это в историю не входит.

Вы видите, как классовая точка зрения от своеобразного, выгодного для данного класса объяснения переходит к форменному искажению русской истории. И вы увидите, что принимать эту теорию закрепощения и раскрепощения за чистую монету нельзя. Когда мы будем говорить о Ключевском, я расскажу, как даже этот последователь Чичерина должен был сдаться перед фактами и признать, что никакого государственного закрепощения крестьян не было, — но мы об этом поговорим в другом месте. Итак, вот вам одна классовая точка зрения русской историографии 50—60-х годов, философии истории, извлеченная из Гегеля представителями нашего дворянства, наших помещиков, в лице Чичерина, которому нужна была историческая подготовка к 19 февраля. Это опять та же публицистика, которая была и раньше. Но нужно сказать, что в этой публицистике есть крупица науки. Чичерин знал, что такое диалектика, Чичерин оперировал со схемой Гегеля и постольку он стоит до известной степени на научной почве. Это объясняет нам, почему это могли принимать за науку даже марксисты. Но марксисты не заметили, что в то же время в России уже зарождалась настоящая историческая наука, материалистическая, но только она зарождалась не в дворянских кругах, откуда вышла теория Чичерина: она зарождалась в мелкобуржуазных кругах. Родоначальником ее был человек, которого без всякой натяжки можно считать по происхождению мужиком, потому что его отец был сельским дьячком, а вы знаете, что сельский дьячок от крестьянина отличается мало.

О биографии Чичерина я ничего не говорил, да и не стоит говорить, кроме тех сведений, что он был профессор государственного права и тамбовский помещик (позже он был городским головой в Москве). Биография Шапова больше заслуживает внимания, прежде всего потому, что Шапов меньше известен. Недавно

мне понадобилась книга Шапова. Я зашел в библиотеку Коммунистической Академии, где я узнал, что он постоянно стоит на полке и что его никто не читает. Я не говорю, что Шапова можно читать вместо Ключевского, во-первых, Шапов устарел, а во-вторых, он писал тяжелым языком, его сочинения читаются с большим трудом. Ораторский талант у него был колоссальный; своими лекциями он умел очаровать не только студентов Казанского университета, но даже и профессоров, даже попечителя Казанского учебного округа: этот сухой чиновник однажды заслушался лекцией Шапова до такой степени, что стал ему аплодировать. Это был человек потрясающе красноречивый, но писал он тягуче и длинно. Поэтому в литературном отношении состязаться с художественной прозой Ключевского он не может, но по содержанию, по своим взглядам он является его учителем и учителем хорошим.

Как я уже сказал, Шапов был сын сельского дьячка, переживший ужасные годы учения в иркутской бурсе, где ученики духовного училища были осыпаны вшами, оборваны и голодны, вследствие чего воровали с огородов. Поэтому их рассматривали как язву, как чуму тех мест. Словом, до духовной академии он вел босяцкое существование. Духовную академию он одолел благодаря своему колоссальному терпению. У его столика в библиотеке студенты показывали два углубления в полу, которые якобы были вырыты ногами Шапова, простаивавшего целыми часами над книгами.

Ученая его карьера в сущности сводится к одной зиме. После «освобождения» был расстрел крестьян, между прочим, и в селе Бездне (Казанской губ.). Несколько человек было убито, а их предводитель Антон Петров — казнен. Студенты устроили по погибшим панихиду. Шапов выступил с речью, по тем временам (1861 г.) весьма яркой и революционной¹, и в резуль-

¹ Подлинный текст ее, писанный рукой Шапова, найден совсем недавно, уже после того, как я читал свои лекции. Этот по-

тате из профессора университета превратился в опального журналиста, некоторое время перебивался в Питере, а затем был выслан к себе на родину — в Сибирь. В Сибири он спился (он был злейший алкоголик) и умер сорока с небольшим лет, в 1876 г. Он писал довольно много; писания его наполняют три толстых тома.

Отношение его к Чичерину, а значит и к той теории, которую я вам сейчас излагал, лучше всего изложить его же собственными словами. Извините, я тут опять вам процитирую два довольно длинных отрывка.

«Первую теорию, — так начинает он свое изложение различных объяснений русской истории, — можно назвать историко-юридическою. Эта теория по преимуществу старалась развивать, с разных точек зрения, идею постепенного государственного развития и благоустройства русского общества. Исходной и основной идеей ее была та мысль, что благосостояние русского народа зависит от хороших или правильных государственных учреждений, от постепенных политических реформ — административных, юридических, гражданских, от либерально-преобразовательной деятельности и умеренной опеки правительства. Лучшими представителями этой теории в литературе можно назвать Кавелина, Калачова, Беляева, Лешкова, Чебышева-Дмитриева, Муллова и проч. Чичерин проявился в этой категории писателей типом ультра-государственного фанатизма, рьяным проповедником строгой, систематической государственной унии и централизации, или централизационно-бюрократического государственного пантеизма. „Государство и народ, — по его метафизико-юридической доктрине, — одно и то же, одно целое, государство в народе, народ в государстве“ и т. п. Другие писатели историко-юридического направления пошли прямо вразрез с доктриной Чичерина, затвердили

длинный текст совершенно опровергает легенду об «осторожности», навязываемой Шапову всеми его биографами из буржуазно-либерального лагеря. Я жалею, что в своей лекции положился на слова одного такого биографа.

не об абстрактной идее государства, не о централизации, не о единстве государственном, не о слиянии народа с государством, а о земстве, о народе, о земском самоуправстве, саморазвитии, самосуде и самоуправлении, о децентрализации, о земских соборах и об областных земских собраниях, об общинах сельских и городских и т. д. В том числе грешен был и я: на эти темы я писал статьи в „Веке“, в „Отечественных Записках“, даже в „Очерках“. До издания „Очерков“ земство и земское саморазвитие было моей *idée fixe*. Под земством и земским саморазвитием я разумел все сферы социального развития, всю массу народа со всеми ее этнографическими видоизменениями, всю совокупность сил народных — умственных и физических, все интересы и потребности народные — умственные и экономические. Я защищал инициативу и самостоятельность сил народа в деле его социального развития. Только при свободном и равном праве инициативы и самостоятельности всех сил народных, думал я, возможно было и могло начаться прогрессивное, здоровое и всецелое саморазвитие народное — и умственное и экономическое. Веря в инициативу, самостоятельность земства, земских, народных, социальных сил, — я верил не только в земские собрания, в земские банки и т. п., но и в земские реальные училища, в земские реальные гимназии, в земские реальные университеты, академии и т. д. Со времени издания „Очерков“, после тяжелого сознания своего семинарского невежества и пустоты, после сознания в своей голове совершенного отсутствия естественных знаний и после болезненной работы и борьбы мыслей, я стал думать, не по своим силам, о взаимодействии и взаимоотношении сил и законов внешней, физической природы и сил и законов природы человеческой, о законах этого взаимодействия внешней и человеческой природы, о проявлениях их в истории, о значении их в будущем социальном строе и развитии народов. Хотя я почувствовал все свое бессилие на этом новом пути мышления, но

все же, сколько мог, понял тогда, что какая бы то ни было, хоть бы самая совершенная, абстрактная социально-юридическая теория не прочна, произвольна без единственно-прочных основ — естественно-научных, физико-антропологических, потому, что она не что иное, как временный продукт изменяющейся, отстающей или развивающейся человеческой мысли, временная и условная, следовательно произвольная, форма склада и настроения наших метафизических, абстрактно-философских идей и понятий о человеке, о его физиологических и общественных функциях и отношениях, о его соотношении с внешним физическим миром и проч. Все юридические теории, без теории строго-реальной и экономической почти ничего не значат, не имеют основы и почвы для своего осуществления и не могут вести общества прямо к главнейшей цели — экономическому и умственному развитию и совершенствованию.

«Другая теория, ясно высказанная в нашей журналистике — экономическая. По этой теории сущность, цель и основа социального развития заключается в экономическом благосостоянии всех классов общества. Лучшим выразителем этой теории был — переводчик и критик „Политической экономии“ Милля¹. Эта теория сразу подорвала десятки теорий юридических, органических, почвенных, славянофильских, классических и т. п. На разных языках — славянофильских, классических, англосаксонских, русско-летописных, шумными, трескучими, высокоглаголивыми и всякими фразами трещали и трактовали мы о самоуправлении, об английском *selfgouvernement*, о необходимости восстановления московской старины, излюбленного земского самоуправления времен Грозного, о почве, об органическом развитии, о самопроникновении русским духом, даже о воспитании детей по Несторовой летописи и

¹ Чернышевский.

проч. и проч. И о чем мы не трещали и чего не словоизвергали! И где-то мы не искали счастья русского народа! Каких потребностей и необходимостей не насчитали мы для него, когда он вопил: нет денег, не знаем ремесл и промыслов, нет работы, нет железа, нет соли, неурожай в Вологодской губернии, неурожай в Пермской губернии и т. п. И вдруг светлая, здравая, рационально-экономическая критика и теория возвестила нам: Марфа, Марфа, печешься и молвишь о мнозе службы, едино же есть на потребу — прежде всего хлеб насущный, прежде всего нужно, чтобы все были сыты, обеспечены и довольны. Да, — подумали мы, — в самом деле, вопрос хлеба есть вопрос жизни и, следовательно, мысли, литературы и науки. От разрешения его зависит разрешение всех других социальных вопросов. Великие реалисты-естественники, когда мы их стали читать, подтвердили нам эту истину. „Государственное устройство,—говорит Либих, — социальные и семейные связи, ремесла, промышленность, искусство и наука, одним словом, все, чем в настоящее время отличается человек, обуславливается фактом, что для поддержания своего существования человек ежедневно нуждается в пище, что он имеет желудок и подчинен закону природы, по которому должен необходимую для него пищу произвести из земли своими трудами и искусством, потому что природа сама собою не дает ему или дает в недостаточном количестве необходимые питательные вещества. Очевидно, что каждое обстоятельство, каким-нибудь образом действующее на этот закон, усиливая или ослабляя его, должно обратно иметь влияние на события человеческой жизни“ ... Да, пока существует голодное человечество, пролетариат, пауперизм — возможно ли, мыслимо ли, чтобы желудочная машина человеческой природы не была тяжелым тормозом человечества на пути его высшего материального, умственного движения, а, напротив, служила беспрепятственным, естественным локомотивом для живого, быстрого, прогрессивного движения ма-

шины мозговой, для прогресса естествоиспытующего разума»¹.

Как видите, он обращается не к философии Гегеля, а к химии Либиха (великий химик 60-х годов). Таким образом, Щапов в своем понимании истории становится на чисто материалистическую базу.

Мне хотелось бы в двух словах сказать о материализме, как классовой подоплеке философии истории Щапова. Это был почти мужик по происхождению, во всяком случае мелкий буржуа по своему быту сначала нищего профессора, потом нищего журналиста. Это был мелкобуржуазный интеллигент крестьянского происхождения, и не случайно, что помещик Чичерин создал барскую теорию истории, а мужик Щапов — мелкобуржуазную теорию русской истории. Класс трудящихся, в том числе и мелкая буржуазия, по своему мировоззрению почти всегда материалистичен. Наш крестьянин умудряется даже в религии быть материалистом. Этот материализм в религии называется фетишизмом, и крестьянин со своей верой в мощи иконы является фетишистом, но он все-таки материалист.

Почему помещик или буржуа редко бывает материалистом? Потому, что те блага, которыми они пользуются, — одежда, пища и пр., достаются им в готовом виде: они получают их путем приказаний, путем «идейного воздействия» на подчиненных им людей — ближайшим образом на прислугу. И для них ясно, что слово — выражение мысли — есть та сила, которая управляет миром. Поэтому для имущих классов идеалистическая философия, философия словесная чрезвычайно естественна.

Но войдите в положение самого портного или повара, готовящего своему барину обед. Он имеет дело с материей (кожа для сапог, сукно для сюртука, мясо

¹ Соч. А. П. Щапова, том второй. С.-Петербург, Издание М. В. Пирожкова, 1906.

и пр.). Как вы ни внушайте ему, что все дело в идее, в словах, он вам ответит: я могу 20 слов сказать сукну, но от этого не сделается сюртук, — я должен взять материал, вещь и поработать над ней. Не только пролетариат, но и все трудящиеся классы являются материалистами; это наиболее естественный для них подход.

Как я уже сказал, Щапов был сын сельского дьячка, сам пахал землю и косил, будучи в деревне, а затем в качестве нищего бакалавра Казанской духовной академии должен был сам себя обслуживать; естественно, что он был материалистом. Идеалистической философии надо было много над ним стараться, чтобы он на время свихнулся в идеализм, но, в конце концов, природа взяла свое, и он сделался материалистом. В этом отношении он не был одинок, так как вся русская литература 60-х годов, созданная выходцами из мелкой буржуазии, вся была проникнута материалистическими тенденциями. Таким образом, материализм Щапова понятен. Мне не хочется отвлекаться в сторону, а то стоило бы остановиться на том, что исторический материализм является лучшим подходом к научному объяснению истории. Замечательная вещь, что из всех философов истории на наиболее научной точке зрения всегда стояли материалисты. Первая схема истории культуры создана римским писателем Лукрецием: например, он гениально предугадал ход технического развития. Человек не проходил археологического института, а между тем его теория правильна: сначала камень, а потом металл (каменный и железный века). Затем возникновение религии на почве страха, на почве зависимости. Это опять-таки идея Лукреция: идея, несмотря на возражения некоторых критиков, материалистическая. Уже в первом веке до нашей эры мы встречаем первую схему истории культуры у писателя-материалиста. В средние века арабские философы, — мелкобуржуазные по своей подкладке, поскольку арабская культура держалась на ремесленной промышлен-

ности, — выдвигают материалистическую философию. Именно на почве этой арабской материалистической философии мы встречаем первого историка, который договаривается до того, что в основе исторического развития лежит развитие производительных сил (Иби-Халдун). XVIII век в Западной Европе ярко окрашен материалистическим цветом, и на этом фоне появляется история культуры Аделунга. Книжка им написана в 1782 г., а рассказывает он приблизительно то же, что и Милюков в «Истории русской культуры», повторяя французского статистика Левассера. Возьмите его закон народонаселения, — как постепенно, по мере роста населения, изменялась техника производства и люди переходили от охоты к земледелию, от земледелия к скотоводству. Эта теория, которая могла показаться новой Милюкову, на самом деле изложена немецким лингвистом Аделунгом в 1782 г. Аделунг писал под несомненным влиянием французского материализма XVIII века: и тогда материализм являлся лучшим подходом.

Аделунг и Милюков подводят нас к той разнице, которая имеется между Шаповым и нами. Шапов объяснял исторический процесс материалистически: образование государства он, например, сводит к процессу материальному — в основу он кладет средства существования. Люди стараются добыть себе средства к существованию наименее трудным способом, живут на даровщинку, ведут хозяйство экстенсивное. Но экстенсивное хозяйство требует большой площади, и поэтому, по мере нарастания населения, хозяйство должно было перейти к более интенсивному или же растекаться по земле. В основу образования громадной Российской Империи Шапов кладет стремление русского народа для своего экстенсивного хозяйства разбежаться по возможно большей территории. Он мастерски определяет физические условия, создавшие границы Российской Империи. Чем определяется северная граница? Карамзин отвечает: успехами русских

великих князей, а Шапов говорит: это гораздо проще; где кончается возможность земледелия по климатическим условиям? На такой-то широте. А где кончаются русские поселения? На такой же широте. Люди со своим экстенсивным хозяйством двигались к северу до тех пор, пока позволяли климатические условия.

Почему люди также шли на Восток, сначала к Уралу, потом за Урал? Что оттуда шло? Меха. Истребили бобра и соболя на русских землях, — пошли на Урал, из Урала в Сибирь. Шапов мастерски описывает, как в погоне за соболем русские охотники завоевывают всю Сибирь.

Возьмите теперь объяснение Шаповым народного русского характера, и вы почувствуете разницу между нами и им, вы поймете, почему мне приходится говорить, что Шапов является нашим родоначальником, но не прямым учителем. Вот это объяснение. Вследствие суровых климатических условий кровообращение северных людей более медленно, чем у южан (не надо забывать, что Шапов стоял на уровне биологических знаний 60-х гг., и я не ручаюсь за научность его обобщений, — но нам важно выяснить его теорию). Эта медленность кровообращения, по его мнению, создает медленность нервных реакций, — нервы русского человека туго реагируют на окружающую среду, но реакция достигнет своего апогея — она происходит быстро. Поэтому у нас период апатии сменяется порывами энергии, — лежит человек, потом вскочит, забегает, а потом опять завалится. Этот факт необычайной диалектичности русского народного характера, выражающейся в резкой смене периодов, совершенно верно отмечен, но дело вовсе не в холодном климате, который якобы замораживает кровь, потому что норманны забирались за Исландию, а кровь у них была довольно горячая. Почитайте Ибсена «Северные богатыри»: вы увидите, что в их жилах текла кровь быстро, несмотря на то, что они жили среди льдов. Дело здесь не в климате, а в необычайной отсталости русского на-

родного хозяйства, с одной стороны, и чрезвычайно быстром росте капитализма в России — с другой. Это создавало резкие контрасты, и эти резкие контрасты выковали под конец в народном характере ту склонность к резким переходам, к резким скачкам, которая выразилась в области политики, например, тем, что мы сразу прыгнули от самодержавия к социализму, минуя все промежуточные ступени. Этот исторический прыжок чрезвычайно характерен. Это объясняется условиями нашего экономического развития, а не той температурой, которая существует в России. Тут мы видим водораздел между нами и Щаповым. Щапов приписывал экономическому фактору непосредственно природное происхождение: ему казалось, что природа действует на человека прямо. Это точка зрения не одного Щапова, а очень многих до-марксистских материалистов: например, Бокля, объяснявшего суеверие перуанцев тем, что в Перу часто происходили землетрясения. Это объяснение, конечно, не марксистское; если привлекать сюда землетрясения — надо показать, как они отразились на развитии производительных сил, на развитии производственных отношений в древнем Перу, а прямо связывать эти две вещи — нельзя.

Но несмотря на то, что Щапов не является марксистом (повидимому, он Маркса даже и не читал), несмотря на это, Щапов делает огромный шаг вперед по пути научного понимания русского исторического процесса, потому его объяснение образования громадной Российской Империи в тысячу раз более научно, чем чичеринская теория закрепощения и раскрепощения. В то время, как чичеринская барская теория сделалась популярной — мужицкая теория Щапова была замолчана. Даже профессор Ключевский, который носит на себе явный отпечаток Щапова, ни слова не говорит о нем. В то же время это был человек, произведения которого были запрещены к выдаче из библиотек. Я помню, что, будучи студентом, я с трудом мог доставать его сочинения.

Вот вам лишний образец влияния классовых отношений на историю. Барская теория Чичерина стала настолько популярной, что ею заразились Плеханов и Троцкий, а теория Шапова покоится на полках библиотеки Коммунистической Академии.

На этом я останавливаю свое сегодняшнее изложение, а завтра перейду к синтезу этих теорий, который нашел себе выражение в писаниях В. О. Ключевского. Чтобы понять Ключевского, надо привлечь к делу еще одну буржуазную теорию — теорию националистическую, автором которой является Сергей Михайлович Соловьев.

III.

Итак, товарищи, мы остановились на характеристике двух резко противоположных схем — схемы материалистической, отражающей идеологию мелкой буржуазии и схемы государственной, отразившей идеологию имущих классов. Противоположность этих схем лучше всего рисуется на одном примере, который я должен был бы привести в прошлый раз. Позвольте мне, напоминая вам об этом противоречии двух схем, привести его сейчас; это — вопрос о происхождении сельской общины.

Вот как объясняет происхождение общины Шапов: «Как ни груба была древне-русская община или общинная „земская дума“, идея веча или земского собора, но и эта северная община и мирская дума, при первоначальной естественно-слабой возбуждаемости и медленной и вялой деятельности индивидуальных умов и сил, вызвана была естественною потребностью коллективной, общинной борьбы грубых умов и рабочих сил народа с земско-хозяйственными бедствиями, производимыми суровым северным климатом, с трудно доступной и скупой естественной экономией суровой северной природы, с бесчисленными физическими и историческими препятствиями, на каждом шагу стремивши-

мися сокрушить жизнь и благосостояние отдельных личностей. И эта грубая, первобытная, древне-русская ассоциация индивидуальных сил, в силу естественного физиолого-психологического притяжения сил, концентрировалась для коллективного, общинного обсуждения и решения («поговоря со всем миром», «мирскою сказкою», «по мирскому уложению», «повальным обыском всяких чинов людей») всех общинных естественно-бытовых вопросов».

А вот как рисуется этот процесс Чичерину: «Из этого исторического обзора сельских учреждений мы можем вывести следующее:

«1) Что наша сельская община вовсе не патриархальная, не родовая, а государственная. Она не образовалась сама собою из естественного союза людей, а устроена правительством, под непосредственным влиянием государственных начал.

«2) Что она вовсе не похожа на общины других славянских племен, сохранивших первобытный свой характер посреди исторического движения. Она имеет свои особенности, но они вытекают собственно из русской истории, не имеющей никакого сходства с историею западных славянских племен.

«3) Что наша сельская община имела свою историю и развивалась по тем же началам, по каким развивался и весь общественный и государственный быт России. Из родовой общины она сделалась владельческою и из владельческой — государственною. Средневековые общинные учреждения не имели ничего сходного с нынешними; тогда не было ни общего владения землею, ни ограничения права наследства отдельных членов, ни передела земель, ни ограничения права перехода на другие места, ни соединения земледельцев в большие села, ни внутреннего суда и расправы, ни общинной полиции, ни общинных хозяйственных учреждений. Все ограничивалось сбором податей и отправлением повинностей в пользу землевладельца, и значение сельской общины было чисто-владельческое и финансовое.

«4) Настоящее устройство сельских общин вытекло из сословных обязанностей, наложенных на земледельца с конца XVI века и преимущественно из укрепления их к местам жительства и из разложения податей на души».

В то время как для Шапова сельская община была образчиком первобытной, зачаточной кооперации, трудовой ассоциации, созданной тяжелыми природными, климатическими условиями, с которыми человек не в силах был справиться в одиночку, для Чичерина и община была созданием государства. Государство, создавая русское общество, создало и сельскую общину — для того, чтобы было удобнее собирать подати. Круговая порука для Чичерина есть то, откуда развилось общинное землевладение; с крестьян взыскивали подати, и естественно, что деревня, платя подати за каждого крестьянина, устанавливала равенство землепользования. Вот вам один из образчиков, где эти теории резко сталкиваются. Шапов не дает организации производства, из которой выросла община, он только неопределенно говорит, что это была трудовая ассоциация; он не связывает ее с типичными формами земледелия — земледелием подсечным, потому что вырубить и очистить от деревьев лесную площадь было не под силу одному человеку или даже одной маленькой семье. Это могла осуществить только группа в несколько десятков человек, т.е. большая семья, из которой позднее развилась сельская община. Вот почему, будучи явлением седой старины для Европейской России, зарождение общинного землевладения — факт весьма современный для Сибири; здесь общинное землевладение возникает стихийно. Но он твердо стоит на том, что община есть экономический факт. Нет, возражает теория Чичерина, община есть факт политический.

Чичеринская схема в чистом виде мало известна широкой публике — мы ее знаем, главным образом, из курса Ключевского. Влияние Чичерина на Ключев-

ского настолько велико, что если вы возьмете, например, статьи о земских соборах Ключевского, вы увидите, что он буквально клянется именем Чичерина. Но его понимание русского исторического процесса сложнее чичеринской схемы. Тут необходимо вставить два звена — одно, пришедшее из русской исторической литературы, а другое — заимствованное Ключевским из современной ему публицистики. Ключевский — эклектик; он так или иначе суммировал, объединил в своей исторической концепции, в своем понимании русской истории, основные признаки нескольких теорий и, прежде всего, он усвоил чичеринскую теорию с теми существенными дополнениями, которые в эту теорию внес Соловьев.

Прежде, чем переходить к Ключевскому, надо, таким образом, охарактеризовать Соловьева, тем более, что он и сам по себе этого стоит.

Соловьев безусловно есть величайший русский историк XIX столетия. Его отличительной чертой среди русских историков прежде всего является громадная историческая образованность, тогда как русские историки в истории других стран обыкновенно бывали большими невеждами.

Благодаря тому, что в 30-х годах XIX века, под влиянием национализма эпохи Николая I, была создана особая кафедра русской истории, и тому, что от желающих занять эту кафедру не требовалось знания иностранных языков, ее стали занимать люди, не знавшие их. Эта безъязычность русского историка создала из кафедры русской истории своего рода гетто, замкнутый квартал. Русские историки великолепно знали свои летописи и документы, но имели смутное представление о том, как выглядит историческая наука в Англии, Германии, Франции и т. д. Вот почему они свои теории — а без теорий и вовсе они жить не могли — заимствовали искужа. Чичерин был, как я уже говорил, профессор не русской истории, а государственного права, и в качестве такового был знаком

с европейскими языками и с европейской литературой, ибо без этого изучать западно-европейское государственное право нельзя. Выгодное отличие Соловьева от варившегося в собственном соку русского историка заключалось в широкой исторической его образованности. Читая его статьи, вы видите, что он был в курсе всего, что писалось по истории на всех языках. Благодаря этому он двумя головами был выше всех своих современников. Это — во-первых. Во-вторых, Соловьев, не обладая художественным талантом Ключевского, не будучи таким гениальным стилистом, каким был Ключевский, был человеком выдающегося ума, а так же, как в конце XVIII и в начале XIX века каждый умный человек был по природе якобинцем, так во второй половине XIX века каждый умный человек по природе немножко марксист,—сознает он это или нет. Мы встречаем у Соловьева ряд таких объяснений русской истории, которые очень напоминают, по крайней мере, «экономический» материализм. Он первый выяснил громадное влияние в русской истории речных путей. И действительно, если мы возьмем период торгового капитала, мы увидим, что в этом-то и суть дела, что группируется русская территория именно около водных путей. В частности, он первый дал экономическое объяснение возникновению Москвы. Почему возвышается московское княжество? Потому, что оно стояло на одном из больших дорожных узлов. Остается только подвести под это настоящий экономический базис. Все это мы знаем из курса Ключевского, и многие считают, что Ключевский автор таких объяснений. На самом деле он целиком взял их у Соловьева. Ключевский этого и не скрывал. Он неоднократно говорил нам своим ученикам, что без «Истории России с древнейших времен» Соловьева он не в состоянии был бы составить своего курса. И действительно, целые главы курса Ключевского, например, глава о междукняжеских отношениях в Киевской Руси, не что иное, как художественная популяризация Соловьева. Влияние Соловьева, такие

образом, и непосредственное и в особенности посредством Ключевского, было колоссальное. Но само собою разумеется, что это нисколько не устраняет того факта, что и Соловьев был представителем определенного класса и, значит, развивал определенную классовую точку зрения.

Класс этот был не совсем тот, который представлял собою Чичерин. Чичерин был тамбовский помещик, Соловьев был городской житель. По происхождению своему он был сын московского протопопа, который раньше был законоучителем в коммерческом училище. В доме этого коммерческого училища Соловьев родился; на этом доме есть доска, отмечающая этот факт. Он принадлежал к кругу зажиточного городского духовенства, которое вело буржуазный образ жизни и было проникнуто теми взглядами и симпатиями, которые свойственны зажиточной городской интеллигенции. Нужно сказать, что мировоззрение Соловьева было глубоко буржуазное и не только в области истории, в области книги, но и в области бытовой. К сожалению, в последнем издании его записок — он оставил очень интересные записки — выпущена замечательная страница, которая в первом издании была и которая выпущена детьми Соловьева, издававшими эти записки, вероятно именно в виду скандальности этой страницы. На этой странице Соловьев изливает свою душу по поводу социальных последствий реформ 60-х годов. Он относился к ним весьма условно: конечно, хорошая вещь — реформы, это верно, но зачем после этих реформ горничные стали носить шляпки, — ни с чем не сообразная вещь; всякий сверчок знай свой шесток — горничная, так ходи в платочке, зачем шляпу надевать? Буржуазия не может себе представить, чтобы рабочий человек смел бы одеваться так, как одеваются почтенные, образованные буржуазные господа. Уже одно это, что Соловьев всем своим мировоззрением был буржуа, достаточно характеризует его в смысле идеологии, но кроме того

и внешнее положение обязывало. Соловьев был профессором Московского университета, членом Академии Наук, учителем двух наследников русского престола: сначала читал лекции Николаю Александровичу, а когда тот помер, Александру Александровичу. Уже эта близость ко двору указывает, что тут никоим образом не могло быть взъерошенного семинариста, каким был Шапов, которого на порог во дворец не пустили бы, а не то, что приглашать читать лекции наследникам. Соловьев был приличный человек, профессор, академик, и естественно, что его положение делало его представителем не пролетарского, даже не мелкобуржуазного, а крупнобуржуазного, собственнического лагеря. Но подход Соловьева к русской истории был, как вы увидите, хоть и буржуазный, но своеобразный. Теория Чичерина оставляла без ответа один очень интересный вопрос. Государство создало общество, закрепостило его себе на службу — и дворян, и крестьян, и горожан, — всех. А зачем оно это сделало, почему это понадобилось? Чичерин удовлетворялся тем, что это дело государства, — так как государство, как известно, все может сделать, это, повторяю, некое земное божество, то нечего здесь и спрашивать — захотело государство и сделало. Но естественно, что такой ответ мог удовлетворить только метафизика, только отвлеченного мыслителя, который твердо запомнил, что правовые идеи сами творят жизнь. Государственная идея закрепощения создала известную систему общественную — и кончен бал. Спрашивать дальше нечего. Кто спрашивает: зачем бог создал мир? То же самое и тут. Соловьев — в этом сказался историк, инстинктивный, бессознательный марксист, — понимал, что нельзя так объяснить, и дополнил схему Чичерина чрезвычайно интересными соображениями, в результате чего и получилась та схема, которую мы имеем в развернутом виде у Ключевского. Вот как он формулировал этот свой взгляд в одной из своих статей, в статье «Древняя Россия», напечатанной в 1856 году.

«Подобно юго-восточной европейской уkraine, Греции, северо-восточная европейская уkraine, принявшая с половины IX века название Руси, России, по природному положению своему должна была вести постоянную борьбу с азиатцами, первая принимает на себя их удары. В то время, как юго-восточная уkraine, Греция, с таким успехом, с такою славою отбивалась от персов, северо-восточная уkraine, сколько знала ее тогда история, находилась под владычеством кочевых азиатцев, которым оседлое народонаселение рабствовало. Такой порядок вещей продолжался до половины IX века по р. X.... Только с основания Русского государства начинается освобождение славянских племен, оседлого европейского народонаселения восточной уkraine от ига кочевых и полукочевых азиатцев. Новое государство берет на себя удары степных хищников, долго борется с переменным счастьем. Но вот в XIII веке Азия, вследствие сильного движения в степях своих, высылает на Запад бесчисленные толпы кочевников: Русь склоняется перед ними, но не погибает под их ударами; собирает силы: и, в то время, как Византия падает перед турками, Россия, Московское государство, торжествует над татарами и начинает в свою очередь наступательное движение на Азию».

В конце своей деятельности, в статье «Начало русской земли», в этой предсмертной статье, своего рода завещании. Соловьев через 20 слишком лет возвращается опять к этой мысли.

«Известия летописца о начале русской земли стоят непоколебимо в силу своей внутренней исторической правды. В половине IX века он приводит нас на европейскую уkraine, в те местности, где проходила граница между двумя формами, имеющими такое важное значение в нашей истории, между полем (степью) и лесом. Степь — море сухое, но обитатели этого моря представляют жидкий, подвижной, бесформенный элемент народонаселения. Вечное движение осуждает их на вечный застой относительно цивилизации; они не

чувствуют под собой твердой почвы; они не любят непосредственно соприкасаться с нею, проводя время на спине верблюда или лошади. Остановка их на одном месте коротка; они не обращают внимания на землю, не работают над нею; их животное ищет для себя корма и дает от себя корм хозяину. Их дело догнать живую добычу на бегу, поймать, убить; их дело напасть на других кочевников или на оседлого человека, ограбить, взять его в плен; они охотники нападать, но не умеют защищаться, при первом сопротивлении мчатся назад; да и что им защищать? Но, убежавши в степь, где никто не догонит, кочевник скоро возвращается назад и нечаянными разбойничьими нападениями не оставит в покое оседлого человека, живущего на окраине степи. И города не всегда спасут последнего: толпы кочевников окружают город и голодом заставляют его сдаться. Но верное спасение оседлому человеку от кочевника — это лес дремучий с его влагою, его болотами. Крепкий и выносливый вообще, кочевник, как ребенок, боится влаги, сырости и страдает от них: поэтому он не пойдет далеко в лесную сторону, скоро воротится назад. В степи виднеются круглые вежи кочевников, как громадные постройки животных, громадные муравьиные кучи; быстро воздвигаются они, быстро исчезают, складываются, ибо в них нет почти ничего твердого. Этой круглой веже кочевника оседлый славянин противопоставил свой крепкий, долго стоящий дом, который построил из твердого материала в лесу или в его близости».

Прежде всего обращают внимание хронологические даты статей: одна написана в 1856 г. — год Парижского мира, когда кончилась Восточная война Николая I — Крымская война. Что же из себя представляет 1877 г., который стоит на второй статье? Это год второй Восточной войны, которую вел Александр II. Эти две статьи, где так четко формулирована борьба леса со степью, хронологически связаны с двумя турецкими войнами — одной неудачной, другой более удачной.

Что же представляют собою русско-турецкие войны?

Идеологически это были войны «за закон». «Свойственная туркам, лютость и ненависть их к христианству, — писала Екатерина в своем манифесте по поводу первой турецкой войны (1768 года), — законом магометанским преданная, стремится совокупно ввергать в бездну злоключений в рассуждении души и тела христиан, живущих не только в подданстве и порабощении их, но и в соседстве уже...» На практике государственный совет Екатерины находил, что «при заключении мира надобно выговорить свободу мореплавания на Черном море, стараться об учреждении порта и крепости». Практические цели двигались все дальше и дальше. Уже в 1829 году Николай I видел себя в мечтах «владыкой Константинополя»; уже и Николая не было на свете, и Константинополь собирался брать его сын, Александр II, — а старая идеология все годилась: война попрежнему велась «за закон» и попрежнему мотивировалась стремлением освободить «древностью и благочестием знаменитые народы» от «ига Порты Оттоманской». Только к характеристике народов стали теперь прибавлять, что они не только «единоверные», но и единокровные, — «братья-славяне». Греки, с «освобождения» которых началось дело, окончательно вышли из моды.

Мотив екатерининского манифеста вошел в состав «железного инвентаря» русской историографии. Для Соловьева война «за закон» является само собою разумеющимся и вполне бесспорным основанием русской восточной политики с конца XVIII века.

«С начала XVII века в отношениях России к Западной Европе господствуют три вопроса: шведский, турецкий, или восточный, и польский; иногда они соединяются вместе по два, иногда все три...

«Другой господствующий вопрос касался берегов другого моря, Черного, ибо Россия, как известно, родилась на дороге между двумя морями, Балтийским и Черным. Первый князь ее является с Балтийского моря

и утверждается в Новгороде, а второй уже утверждается в Киеве и победоносно плавает на Черном море.

«Еще до начала русской истории Днепром шла дорога в Грецию, и потому при первых князьях русских завязалась тесная связь у Руси с Византией, скрепленная принятием христианства греческой веры; а по нижнему Дунаю и дальше на юг — сидели все родные славянские племена, тем более близкие к русским, что исповедывали ту же греческую веру. Когда турки взяли Константинополь, поработили и восточных славян греческой веры, Россия, отбиваясь от татар, собиралась около Москвы. Московское государство осталось единственным независимым государством греческой веры, понятно, следовательно, что к нему постоянно обращены были взоры народов Балканского полуострова...»¹.

Читатель заметил модернизацию мотива при помощи «родных славянских племен». Но Соловьев был слишком крупный ученый, чтобы ограничиться такой газетной корректурой — и он вводит новый мотив, которому и посчастливилось так у следующего поколения.

«Нестерпимое хищничество орд — Казанской, Ногайско-Астраханской и Сибирской — заставило Россию покончить с ними; но она не была в состоянии покончить с самою хищною из орд татарских, — с Крымскою, которая находилась под верховной властью султана турецкого. Крымский вопрос был жизненным вопросом для России, ибо, допустив существование Крымской орды, надобно было допустить, чтобы Южная Россия навсегда оставалась степью, чтобы, вместо хлебных караванов, назначенных для прокормления Западной Европы в неурожайные годы, по ней тянулись разбойничьи шайки, гнавшие толпы пленников, назначенных для наполнения восточных невольничьих рынков»...

¹ «История падения Польши». Разрядка моя. М. П.

То, что в «Истории падения Польши» было лишь слегка намечено, стало лейтмотивом для всей «философии истории» русского народа после того, как новая турецкая война (1877—1878 гг.) заново отремонтировала идеологию екатерининских манифестов. Подводя итог тридцатилетней работе в своей лебединой песне, статье о «Началах русской земли» (написанной между 1877 и 1879 годами — последний был годом смерти Соловьева), на борьбе леса и степи он строит весь русский исторический процесс — если не исторический процесс вообще.

«Россия есть государство пограничное, есть европейская окраина, или Украина, со стороны Азии. Это украинское положение России, разумеется, должно иметь решительное влияние на ее историю».

«В самой глубокой древности мы видим столкновения между народами, стоящими на разных ступенях развития, и происходившие именно от этого различия. Таковы были издавна противоположность и враждебность двух форм быта — кочевой и оседлой. Западная Европа и южные ее полуострова, бывшие главною сценою древней истории, по свойствам своей природы, не предоставляли никаких удобств для кочевого быта, и потому мы не находим в преданиях этих стран известий о нем и о столкновениях между кочевым и оседлым народонаселением. Азия и Африка, в своих степях и пустынях давали — и до сих пор дают — возможность народам вести кочевой образ жизни; до сих пор средняя Азия, области, на днях вошедшие в состав Русского государства, представляют любопытную картину отношений между кочевым и оседлым народонаселением, наглядно восстанавливающую отношения, которые некогда существовали и в других местах, именно в Восточной Европе, на той обширной, прилежащей к Азии, равнине, на которой образовалась русская государственная область... В первых известиях о Восточной России, записанных у Геродота, мы уже встречаемся с отношениями между кочевым и оседлым ее

народонаселением. Геродот отличает скифов кочевых от скифов-земледельцев и говорит, что первые господствовали над вторыми. Мы не станем решать нерешимого вопроса, принадлежали ли эти два вида Геродотовых скифов к одному племени или к разным: для нас важно отношение — кочевые господствуют над оседлыми; для нас важно то, что в известиях летописца о начале русской истории мы находим то же отношение: кочевники или полукочевники хозары, живя на востоке, у Дона и Волги, господствуют над оседлыми племенами славянскими, живущими на западе по Днепру и его притокам».

Итак — борьба с степью связана с турецкими войнами, которые вела Россия в XIX веке. Если мы поймем, зачем велись турецкие войны, то мы получим материалистическое объяснение интересующей нас идеологии. Зачем велись эти войны?

Я начну с объяснений, я думаю, вам очень близких. Я думаю, что вы по газетам следили за партийным съездом¹ и помните речь т. Троцкого о необходимости создания в России внутреннего рынка для восстановления русской промышленности. Это, конечно, непрерываемая истина, что русская промышленность не может расти без внутреннего рынка и что создание этого рынка было первостепенным условием для развития в России промышленного капитализма. Но этот внутренний рынок, столь необходимый для русской промышленности, как опять-таки указывал т. Троцкий, рос при царском режиме очень медленно, потому что интересы старого хозяина русской земли — помещика — здесь сталкивались с интересами промышленного капитала. Промышленному капиталу нужна была быстрая дифференциация деревни, пролетаризация ее для получения рабочих на фабрики, с одной стороны, и для расширения этого самого внутреннего рынка — с другой. Этот процесс дифференциации крестьянства дворян-

¹ Речь идет о XII съезде в 1923 г.

ство искусственно задерживало. В первой половине XIX века оно чрезвычайно долго не мирилось с ликвидацией крепостного права, и ликвидировать крепостное право не удавалось, несмотря на то, что промышленный капитал чрезвычайно энергично и настойчиво этого требовал. Крымская война заставила ликвидировать крепостное право, но с крайней осторожностью. Крестьянин остался фактически прикрепленным к земле — именно этот смысл имел тот небольшой, уменьшенный против крепостного времени, надел, который крестьянину при «освобождении» оставили. О таком значении «освобождения с землей» говорилось почти открыто. Это Кошелев, один из умнейших представителей дворян, говорил, что если освободят крестьян без земли, то это будет второе переселение народов, все уйдут в черноземные места. Затем, в деревне крестьянина нужно было поставить в такие условия, чтобы он имел внутреннее побуждение идти искать работу в барской экономии. Без разрешения мира, — а мир был поставлен под надзор дворянского мирового посредника, — он не мог ни выделиться из семьи, ни уйти на заработки в сторону, ни, тем паче, раскрестьяниться и превратиться из земледельца в промышленного рабочего. На все это требовалось согласие мира. А мир, — это очень выразительно описывал Энгельгард в своих «Письмах из деревни», — был всецело в руках посредника, который блюл за тем, чтобы не было переселения народов, чтобы крестьяне не разбежались.

В связи со всем этим крестьяне остаются только наполовину раскрепощенными или даже на четверть. Конечно, дифференциация крестьянства и пролетаризация его — это был стихийный экономический процесс, и его нельзя было перевернуть никакими законами, но образование пролетариата шло у нас до 80-х годов чрезвычайно медленно.

Это медленное расширение внутреннего рынка и стазило перед русским промышленным капитализмом, чуть

не с момента его зарождения, вопрос о рынках
внешних.

Экономический смысл русско-турецких войн и заключался в попытках русской мануфактуры прорваться на юг от Черного моря, Кавказского хребта и Каспийского моря в страны передней Азии, где, как еще в 1836 году находил государственный совет Николая I «при настоящем усовершенствовании фабрик и мануфактур, изделия наши могут начинать соперничество с иностранными, приготовляемыми собственно для азиатского торга, как в доброту, так и в цене»... А так как «законными хозяевами» мануфактурного рынка этих стран были уже в те времена англичане, то стремление русского самодержавия «пролагать оружием новые пути для торговли нашей на Востоке» тотчас же встречало отпор со стороны «заграничной расчетливости», в свою очередь стремившейся «заградить пути на в Азию с той стороны, где иностранцы открыли новый сбыт своих произведений — сбыт, который, как известно, значительно озабочивает ныне Англию и Францию».

Эти последние слова кажутся написанными накануне Крымской войны, — а они взяты из «мнения» государственного совета от 4 февраля 1832 года. Так глубоко в прошлое уходят корни конфликта. Но коварный Альбион нашел целесообразным вынуть из ножен свой собственный меч только однажды, двадцать два года после того, как государственные люди николаевской России констатировали его коварство. И до и после этого события «пролагать вооруженной рукой новые пути» приходилось насчет ближайших мусульманских соседей России, Турции и Персии. То, что для историка является русско-английским конфликтом, для современной публики было русско-персидскими, а главным образом русско-турецкими войнами. Отсюда — крымская война Николая I и турецкая Александра II. Таким образом, вы видите, что эти войны были необходимы как отдушины для русского промышленного

капитала. И учитель наследника престола вынужден был построить такую историческую теорию, под которую это можно было подвести. Таким образом, теория носит определенно классовый характер, несмотря на то, что как будто бы между лесною сыростью и ситцевыми фабриками Владимирской губернии нет ничего общего.

Ключевский, к которому мы перейдем в следующий час, усвоил теорию Чичерина с этим ее чрезвычайно ценным, с точки зрения буржуазной идеологии, дополнением, ибо теория Чичерина объясняла лишь внутреннюю историю, а теория Соловьева захватывала и внешнюю.

Посмотрим же, что представлял из себя, как историк, Ключевский.

«Итак, человеческая личность, людское общество и природа страны — вот те три основные исторические силы, которые строят людское общество». Так формулировал Ключевский свое понимание исторического процесса.

Людское общество, как это видно из его дальнейшей характеристики, это приблизительно то, что Чичерин называл государством.

Откуда Ключевский взял личность? Он ее взял не у Чичерина, не у Соловьева и даже не у Шапова, — Ключевский ее взял у Лаврова, столетний юбилей которого мы будем праздновать в июне настоящего года. Вам он, вероятно, известен как один из основоположников нашего народничества, — его «Исторические письма» были евангелием революционера 70-х годов. Вы помните, что в основе его исторического мировоззрения лежит теория, согласно которой народные массы представляют собой нечто инертное, малоподвижное, почти не меняющееся и что двигателем прогресса этих масс являются критически мыслящая личность. Мелкобуржуазный характер этой теории, сводящей все развитие к влиянию индивидуумов, бьет в нос. Процесс Лаврову представляется так: известная идея зарождается в мозгу человека и оттуда, постепенно распро-

странаясь, завладевает мозгами других личностей, а затем и всем обществом. Эта мысль была усвоена Ключевским.

«Идеи — плоды личного творчества, произведения одиночной деятельности индивидуальных умов и совестей, и в своем первоначальном, чистом виде они проявляются в памятниках науки и литературы, в произведениях уединенной мастерской художника или в подвигах личной самоотверженной деятельности в пользу ближнего... Вы поймете, когда личная идея становится общественным, т.-е. историческим фактом, это — когда она выходит из пределов личного существования и делается общим достоянием, и не только общим, но и обязательным, т.-е. общепризнанным правилом или убеждением. Но, чтобы личная идея получила такое обязательное действие, нужен целый прибор средств, поддерживающих это действие — общественное мнение, требование закона или приличия, гнет полицейской силы... Итак, я вовсе не думаю игнорировать присутствия или значения идей в историческом процессе, или отказывать им в способности к историческому действию. Я хочу сказать только, что не всякая идея попадает в этот процесс, а попадая, не всегда сохраняет свой чистый первоначальный вид. В этом виде, просто как идея, она остается личным порывом, поэтическим идеалом, научным открытием — и только; но она становится историческим фактором, когда овладевает какой-либо практической силой, властью, народной массой или капиталом — силой, которая перерабатывает ее в закон, в учреждение, в промышленное или иное предприятие, в обычай, наконец — в поголовное массовое увлечение или художественное всем ощутительное сооружение, когда, например, набожное представление выси небесной отливается в купол Софийского собора»¹.

¹ В. О. Ключевский, «Курс русской истории». Часть I. Лит. изд. Отд. НКП. Петроград, 1918, стр. 29, 30 и 32.

Вы видите, насколько мировоззрение Ключевского является мало марксистским и как наивны те люди, которые считают Ключевского одним из родоначальников исторического материализма в России; он является родоначальником исторического материализма лишь постольку, поскольку он стоит на почве Щапова.

«Внешняя природа нигде и никогда не действует на все человечество одинаково, всей совокупностью своих средств и влияний. Ее действие подчинено многообразным географическим изменениям: разным частям человечества по его размещению на земном шаре она отпускает неодинаковое количество света, тепла, воды, климатов, болезней — даров и бедствий, а от этой неравномерности зависят местные особенности людей. Я говорю не об известных антропологических расах: белой, темно-желтой, коричневой и проч., происхождение которых во всяком случае нельзя объяснить только местными физическими влияниями; я разумею те, преимущественно бытовые, условия и духовные особенности, какие вырабатываются в людских массах под очевидным влиянием окружающей природы и совокупность которых составляет то, что мы называем **национальным темпераментом**»¹.

Вспомните Щапова с его измерениями температуры, с одной стороны, и с его учением о непосредственном влиянии климата на характер, — и вот он, живой Щапов. Вы видите, что у Ключевского есть кусочек от Лаврова, — роль идей и личности, есть кусочек от Щапова, — из старого до-марксистского экономического материализма, и рядом с этими кусочками у него вы находите в развитом виде и чичеринскую теорию.

«На физиологических основах кровной связи строилась первобытная семья. Семьи, пошедшие от одного корня, образовывали род, другой кровный союз, в состав которого входили уже религиозные и юриди-

¹ В. О. Ключевский, «Курс русской истории». Часть I. Лит. изд. Отд. НКП. Петроград, 1918, стр. 10 — 11.

ческие элементы, почитание родоначальника, авторитет старейшины, общее имущество, круговая самооборона (родовая месть). Род через нарождение разрастался в племя, генетическая связь которого выражалась в единстве языка, в общих обычаях и преданиях, а из племени или племен, посредством разделения, соединения и ассимиляции, составлялся народ, когда к связям этнографическим присоединялась нравственная, сознание духовного единства, воспитанное общей жизнью и совокупной деятельностью, общностью исторических судеб и интересов. Наконец народ становится государством, когда чувство национального единства получает выражение в связях политических, в единстве верховной власти и закона. В государстве народ становится не только политической, но и исторической личностью с более или менее ясно выраженным национальным характером и сознанием своего мирового значения¹.

Я вам говорил, что Ключевский есть синтез, или, точнее говоря, Ключевский эклектик. Конечно, популярности Ключевского много помогло то, что это был человек совершенно исключительного художественного таланта. Страницы курса Ключевского выдерживают сравнение с любым отрывком тургеневской прозы. Вот почему Ключевский читается так легко, и вот почему его читать приятно. Без этого таланта его громадная популярность была бы непонятна. Можно однако быть уверенным, что даже при таком литературном таланте, но будучи более односторонним, Ключевский никогда бы не сделался таким кумиром русской интеллигенции, ибо эта интеллигенция ничего так не любит, как того, чтобы ей подавали предмет, как она говорит, с разных сторон. Она терпеть не может «односторонности». Поэтому она всегда без всякой симпатии относилась к марксистам, ибо это люди явно односторонние. А ей нужно, этой интеллигенции, чтобы одновременно тут

¹ Там же, стр. 13.

народничество было — и у Ключевского есть Лавров, — чтобы была и государственная теория — у Ключевского есть Чичерин, и чтобы был также и природный фактор — Ключевский дает Щапова. Пожалуйте, все есть. И интеллигент, читая Ключевского, плавает в блаженстве — вот это, действительно, не узколобый марксист: у него все есть.

Конечно, эти теории немножко исключают друг друга, как вы догадываетесь. Если психологические особенности народа определяются материальной обстановкой, среди которой живет этот народ, то, очевидно, идеи стоят в какой-то связи с этою же обстановкой, и нельзя их рассматривать, как свободное проявление индивидуального творчества. С другой стороны, если племья с железной, внутренней необходимостью развивается в племя, племя в народ, народ в государство, — тут как будто уже не остается места ни для природного фактора ни для личной инициативы. Но для массового читателя тут нет большой беды. Вы знаете изречение — кто много дает, всем что-нибудь приносит. Поэтому всякий интеллигент, будь он сторонником теории Чичерина или народником типа Лаврова, находил у Ключевского родственные нотки. Отсюда вы видите, что Ключевский не может считаться выразителем какой-нибудь определенной класовой психологии, каким являлись Чичерин, Соловьев и Щапов. Это типичный представитель интеллигенции, т.-е. того междукласового слоя, который, с одной стороны, связан с капиталом, поэтому волей-неволей танцует по дудке буржуазии, но, с другой стороны, эксплуатируется этим капиталом, — поэтому он против буржуазии. Он очень любит разговоры о социализме, но как только этот социализм начинает превращаться из разговоров в действительность, это для него является чем-то непереносимым — тут появляются и немецкие деньги, и шпионство, и проч. — это вы знаете. Этот промежуточный класс и имел своим выразителем, гениальным выразителем, — потому что Ключевский, в особенности по

своему изложению, несомненно гениальный историк, — В. О. Ключевского.

«Жизнь политическая и жизнь экономическая — это различные области жизни, мало сродные между собой по своему существу. В той и другой господствуют полярно-противоположные начала; в политической — общее благо, в экономической — личный материальный интерес; одно начало требует постоянных жертв, другое — питает ненасытный эгоизм. Во-вторых, то и другое начало вовлекает в свою деятельность наличные духовные средства общества. Частный, личный интерес по природе своей склонен противодействовать общему благу. Между тем человеческое общежитие строится взаимодействием обоих вечно борющихся начал. Такое взаимодействие становится возможным потому, что в составе частного интереса есть элементы, которые обуздывают его эгоистические увлечения. В отличие от государственного порядка, основанного на власти и повиновении, экономическая жизнь есть область личной свободы и личной инициативы, как выражения свободной воли. Но эти силы, одушевляющие и направляющие экономическую деятельность, составляют душу и деятельности духовной. Да и энергия личного материального интереса возбуждается не самым этим интересом, а стремлением обеспечить личную свободу, как внешнюю, так и внутреннюю, умственную и нравственную, а эта последняя на высшей степени своего развития выражается в сознании общих интересов и в чувстве нравственного долга действовать на пользу общую. На этой нравственной почве и устанавливается соглашение вечно борющихся начал по мере того, как развивающееся общественное сознание сдерживает личный интерес во имя общей пользы и выясняет требования общей пользы, не стесняя законного простора, требуемого личным интересом»¹.

¹ В. О. Ключевский, «Курс русской истории». Часть I. Лит. изд. Отд. НКП. Петроград, 1919 г., стр. 34—35.

Если мы возьмем отдельные теории Ключевского, то мы встретим на них точно такой же отпечаток эклектики, точно такое же сочетание различных точек зрения, сочетание, иногда довольно искусное. Если вы эту главу, которую я вам процитировал, прочитаете сплошь, не сопоставляя отдельных мест, вы, пожалуй, проглядите это; благодаря блестящему изложению, довольно легко не заметить белых ниток, которыми все шито. Его теория развития русского общества есть, в сущности говоря, Чичерин, умноженный на Соловьева и дополненный теми теориями, которые Ключевский извлекал из современной ему публицистики. Прежде всего, в основе у Ключевского лежит теория закрепощения и раскрепощения. Для него точно так же русское общество образовано государством, при чем государство сформировало это общество так, как ему нужно было. Всего характернее этот взгляд Ключевского выразился в его теории земских соборов, при чем в своих статьях о земских соборах он поминутно ссылается на Чичерина, как я упоминал, клянется именем Чичерина. По отношению к земским соборам Ключевский проделал ту же операцию, которую Чичерин проделал по отношению к русской общине. Он попытался и земские соборы рассматривать как известную форму круговой поруки. Что такое были земские соборы? — говорит он. — Это было совещание правительства со своими собственными агентами. Правительство было слишком слабо, чтобы заставлять на местах выполнять свою волю путем приказа из центра, как это делалось в XIX веке. Правительство созывало местных людей в Москву и говорило, что от них требуется и сколько требуется. Оно говорило им: на вас, верхушках местного общества, лежит ответственность. Эти верхушки разъезжали по местам и проводили там директивы центра. Вот что такое земские соборы. Этим Ключевский объясняет тот факт, что у нас земские соборы не превратились в орудие политической оппозиции. Они не могли стать у нас зачатками парламента, потому что парламент в Запад-

ной Европе создавался в противовес центральной власти, как выразитель воли общества и против воли государства, а у нас земские соборы XVI—XVII веков были созданы государством для него, на его потребности. Вот в чем разница. Так что земский собор, по Ключевскому, у нас есть чисто государственное произведение. Это является дополнением к теории Чичерина.

То же относительно образования в России сословий. Ключевский образование сословий ставит в непосредственную связь с волей государства. Государство у нас создало сословия, но почему оно их создало? Он, по Чичерину, берет удельную Русь, как тип гражданского общества, где все держится на договорах между отдельными лицами, и заканчивает так:

«Своеобразный склад (русского) государственного порядка объясняется господствующим интересом, его создавшим. Этим интересом было ограждение внешней безопасности народа, во имя которой политически раздробленные прежде части его соединились под одной властью. Великороссия объединилась под властью московского государя не вследствие завоевания, а под давлением внешних опасностей, грозивших существованию великорусского народа. Московские государи расширяли свою территорию и вооруженной борьбой; но то была борьба с местными правителями, а не с местными обществами. Поразив правителей княжеств или аристократию вольных городов, московские государи не встречали отпора со стороны местных обществ, которые большей частью добровольно и раньше своих правителей тянули к Москве. Итак, политическое объединение Великороссии вызвано было необходимостью борьбы за национальное существование»¹.

Вы видите, что теория Чичерина дополнена теорией Соловьева — борьбой со степью, ибо главным образом приходилось обороняться от татар, — и собственно

¹ «История сословий» по изданию 1918 года, стр. 120 — 122.

мыслью Ключевского о том, что оборонялось некое целое, именуемое великорусским народом.

Вот с этой стороны, может-быть, нам будет всего удобнее начать критику Ключевского. В заключение своей характеристики «основного факта» русской истории XV века, он заводит речь «об идее национального (разрядка Ключевского) государства, о стремлении к политическому единству на народной основе. Эта идея возникает и усиленно разрабатывается, прежде всего, в московской правительственной среде по мере того, как Великороссия объединялась под московской властью». Эту «идею народного государства» «рождала объединившаяся Великороссия»; но Ключевский не ставит пределов «народному государству»; пределы эти «в каждый данный момент были случайностью, раздвигаясь с успехами московского оружия и с колонизационным движением великорусского народа».

Оговорка очень благоразумная: ибо тексты, которые пытается приводить тут же Ключевский в подтверждение своей «национальной» гипотезы, к Великороссии-то уже ровно никакого отношения не имеют. Эти тексты, взятые из дипломатической переписки Ивана III, развивают ту обычную для своего времени мысль, что московский великий князь есть в о т ч и ч всей Русской земли, но образчики этой «вотчины», здесь упоминаемые — Киев, Смоленск — и поводы для самой переписки — переход на московскую сторону черниговских князей ясно показывают, что московская дипломатия от-правлялась не от великорусского национализма. Что в Смоленске — «Белая Русь», а в Киеве — «Малая», — это в Москве очень хорошо знали и помнили: но в эти дни там еще лучше знали и помнили, что московский великий князь — прямой потомок Владимира Всеволодовича Мономаха, когда-то державшего всю Русскую землю. Что национальность тут была ровно не при чем, убедительнее всего свидетельствуется именно этой генеалогией, на которую так напирает, в те годы как

раз распространявшееся, «Сказание о князьях Владимирских». В Мономахе больше всего ценили греческую кровь его деда, императора восточной Римской империи, — ибо этой кровью надеялись стать вотчинами всемирного православного царства. Ничего более чем это последнее, противоположного национальному государству нельзя себе и представить. А в дальнейшем разворачивании византийское происхождение Владимира Мономаха приводило к знаменитой теории, делавшей предком Ивана III, ни более ни менее, как императора Августа. Основываясь на этой теории, Иван Грозный уверенно заявлял, что он не русский, а немецкий, подражая своему царю, все знатные бояре его времени выводили свой род от какого-нибудь именитого иностранца, якобы во время оно приехавшего служить знаменитейшей в мире династии. А Ключевский из этих людей хочет сделать великорусских патриотов!

И тут опять корни исторической гипотезы гораздо легче найти в современной историку среде, нежели в том прошлом, для объяснения которого гипотеза выдвинута. В 1860-х годах даже Наполеон III распинался в своем уважении к «принципу национальности» — и налицо было два таких факта, как национальное объединение Италии и Германии. Русские вариации на тему о единокровных братьях-славянах были лишь запоздалым перепевом того же мотива. «Идея национальности» носилась в воздухе в те годы, когда Ключевский рос как ученый. Труднее было отгородиться от нее, нежели ее усвоить.

Но если логическая подпорка схемы Чичерина — Соловьева сама так плохо держится, лучше ли отвечает фактам сама схема? Этим вопросом стоит заняться по-дробнее.

Начнем с самого общего факта — борьбы с степью. Примем на минуту, что эта борьба, действительно, была пружиной, толкавшей вперед развитие московского государства, и посмотрим, что получается.

Максимум напор степи на русское славянство приходится, безо всякого спора, на XI—XIV столетия. Датами тут могут служить 1068 год — когда Киевская Русь впервые была разгромлена половцами, и наступление на степь, очень заметное при Владимире и Ярославле, сменилось надолго обороной от степи, с одной стороны; с другой — 1382 год, взятие Москвы Тохтамышем; последний случай, когда новая столица северо-восточно Руси побывала в татарских руках: в 1571 году татарам удалось выжечь московский посад, но против кремлевской артиллерии степная конница оказалась бессильна. На этот промежуток, казалось бы, и должно падать по крайней мере начало московской централизации, по крайней мере начало пресловутого «закрепощения».

Обратимся к Соловьеву. Констатируя, что «северо-восточная европейская Украина, принявшая с половины IX века название Руси, России, по природному положению своему должна была вести постоянную борьбу с азиатами», вот как характеризует он внутреннее состояние этой «Украины», за отмеченный нами период — самый критический период «борьбы со степью»:

«В человеке признаки дряхлой старости бывают одинаковы с признаками слабого младенчества. Так бывает и в обществах человеческих; одряхлевшая Римская империя оканчивает бытие свое разделением; видимым разделением начинают бытие свое новые государства европейские, вследствие слабости не сложившегося еще организма. Во внутренних борьбах гибнут государства устаревшие; сильную внутреннюю борьбу видим и в государствах новорожденных. И древняя русская история до половины XV века представляет беспрерывные усобицы: „Тогда земля сеялась и росла усобицами; в княжих крамолах век человеческий сокращался. Тогда по русской земле редко раздавались крики земледельцев, но часто каркали вороны, деля между собою трупы; часто говорили свою речь галки,

собираясь лететь на добычу. Сказал брат брату: это мое, а это мое же; и за малое стали князья говорить большое, начали сами на себя ковать крамолу, а поганые со всех сторон приходили с победами на землю русскую. Встонал Киев тугою, а Чернигов напастями, тоска разлилась по русской земле“. Русь превратилась в стан воинский: бурным страстям молодого народа открыто было широкое поприще; сильный безнаказанно угнетал слабого. Как же могло существовать общество при таких обстоятельствах? Чем спаслось оно?»¹.

По мнению Соловьева, оно спаслось «нравственными» силами, «ибо материальные были бесспорно на стороне Азии». Не будем об этом спорить — для нас важно то, что сам автор теории, объяснявший возникновение московской государственности потребностями национальной обороны от «степных хищников», должен был признать, что на период, когда эта оборона была особенно нужна, когда стране грозила «конечная гибель» от этих хищников, падает максимум децентрализации, максимум разложения, а не сложения сил. Действие борьбы со степью походит таким образом, на действие некоторых заражений — малярией, например, — когда болезнь начинает проявляться лишь долго спустя после момента заражения. Когда-то боролись со степью, это привило микроб «закрепощения» — и, лет этак через полтора-два, микроб начал действовать...

Лет через полтора-два, ибо «закрепощение», — т.е. обязательная военная служба помещиков — падает на середину XVI столетия (между 1550—1556 гг. См. «Курс» Ключевского, ч. II, стр. 273—274). Но защитники теории скажут нам: позвольте, однако, — ведь на XVI век приходится все-таки целых два крупных набега татар (крымских) на Москву, 1521 и 1571 годов.

¹ Собрание сочинений, изд. Обществ. Пользы, стр. 794. Из статьи «Древняя Россия».

Последний составил эпоху — от 1571 года, от «татарского разорения», вели летоисчисление, как впоследствии от 1812 года. Разве этого было не достаточно?

Как раз сравнение с 1812 годом и показывает, что весьма, конечно, недостаточно: до сих пор никто еще не выставил теории, объясняющей милитаризм Николая I уроками 1812 года. Но примем, что татарские набеги XVI столетия, действительно, могли сыграть роль в «закрепощении»: из затруднения мы все-таки не выйдем.

Первый большой набег татар имел место в 1521 году. Имело ли после него место закрепощение? От 1539 года до нас дошла писцовая книга Тверского уезда, перечисляющая тогдашних тверских землевладельцев. Их всего 572; — из них великому князю служили только 230 человек; 126 были на службе у крупных землевладельцев (больше всего у тверского архиерея и у князя Микулинского), а 150 человек не служили никому. Общеобязательной военной службы всех землевладельцев великому князю еще не было.

После 1556 года эта служба была несомненным фактом: но «степная бацилла» и тут дожидалась 35 лет, чтобы начать действовать. И так как набег 1571 года все же хронологически ближе (всего пятнадцать лет против тридцати пяти), — то остается предположить, не обладала ли бацилла обратным действием, вызывая болезнь до заражения. Степные хищники так коварны...

Конечно, если вспомнить, что на этот период, 1550-ые—1560-ые годы, падает расцвет московского империализма XVI века, — в эти годы был захвачен южный конец великого речного пути из Европы в Азию, от Казани до Астрахани, и началась попытка захватить северный конец, выход на Балтийское море, началась Ливонская война, — если это вспомнить, пожалуй не нужно будет никаких предположений более или менее сверхъестественного характера. Но нужна ли тогда будет и гипотеза «борьбы со степью»?

Так дело обстоит с «закрепощением» благородного российского дворянства. Лучше ли обстоит оно с настоящим, уже без всяких ковычек, закрепощением сидевших на земле этого дворянства крестьян?

Для того, чтобы связать его с оборонческой теорией, нужно, конечно, чтобы закрепощение было актом той государственной власти, которая руководила этой самой обороной. Естественно, что создавшие нашу теорию историки немало потратили труда и времени на то, чтобы отыскать этот акт. Чем кончились их поиски, лучше всего рассказать словами В. О. Ключевского.

«Первым актом, в котором видят указания на прикрепление крестьян к земле, как на общую меру, считают указ 24 ноября 1597 года. Но этот указ содержанием своим не оправдывает сказания об общем прикреплении крестьян в конце XVI в. Из этого акта узнаем только, что если крестьянин убежал от землевладельца не раньше 5 лет до 1 сентября (тогдашнего нового года) 1597 года и землевладелец вчинит иск о нем, то по суду и по сыску такого крестьянина должно возратить назад, к прежнему землевладельцу, «где кто жил», с семьей и имуществом; «с женой и с детьми и со всеми животы». Если же крестьянин убежал раньше пяти лет, а землевладелец тогда же, до 1 сентября 1592 г., не вчинил о нем иска, такого крестьянина не возвращать и исков и челобитий об его сыске не принимать. Больше ничего не говорится в царском указе и боярском приговоре 24 ноября. Указ, очевидно, говорит только о беглых крестьянах, которые покидали своих землевладельцев «не в срок и без отказа», т.-е. не в Юрьев день и без законной явки со стороны крестьянина об уходе, соединенной с обоюдным расчетом крестьянина и землевладельца. Этим указом устанавливалась для иска и возврата беглых временная давность, так сказать, обратная, простиравшаяся только назад, но не ставившая постоянного срока на будущее время. Такая мера, как выяснил смысл

указа Сперанский, принята была с целью прекратить затруднения и беспорядки, возникавшие в судопроизводстве вследствие множества и запоздалости исков о беглых крестьянах. Указ не вносил ничего нового в право, а только регулировал судопроизводство о беглых крестьянах. И раньше, даже в XV в., удельные княжеские правительства принимали меры против крестьян, которые покидали землевладельцев без расплаты с ними. Однако из указа 24 ноября вывели заключение, что за пять лет до его издания, в 1592 году, должно было последовать общее законоположение, лишавшее крестьян права выхода и прикреплявшее их к земле. Уже Погодин, а вслед за ним и Беляев, основательно возражали, что указ 24 ноября не дает права предполагать такое общее распоряжение за пять лет до 1597 года: только Погодин не совсем точно видел в этом указе 24 ноября установление пятилетней давности для исков о беглых крестьянах и на будущее время. Впрочем, и Беляев думал, что если не в 1592 г., то не раньше 1590 года должно было состояться общее распоряжение, отменявшее крестьянский выход, потому что от 1590 г. сохранился акт, в котором за крестьянами еще признавалось право выхода, и можно надеяться, что со временем такой указ будет найден в архивах. Можно с уверенностью сказать, что никогда не найдется ни того ни другого указа, ни 1590 ни 1592 года, потому что ни тот ни другой указ не был издан»¹.

«Итак, — заканчивает Ключевский, — законодательство до конца изучаемого периода (т.е. до конца «Смуты». М. П.) не устанавливало крепостного права. Крестьян казенных и дворцовых оно прикрепляло к земле или к сельским обществам по полицейско-фискальным соображениям, обеспечивая податную их исправность и тем облегчая действие круговой поруки. Крестьян владельческих оно не прикрепляло к земле, не

¹ «Курс», II, стр. 385—386.

лишало права выхода, т.-е. не прикрепляло прямо и безусловно к самим владельцам»¹.

Мы не выписываем промежуточных страниц, где Ключевский очень тонко и обстоятельно развивает свою известную теорию об обязательствах крестьянина к помещику, как возникших на почве исключительно гражданских правоотношений, безо всякого вмешательства государства. Что теория эта бьет в лицо развиваемую тем же Ключевским в других лекциях теорию закрепощения, едва ли нужно на этот счет распространяться: историк, т.-е. бессознательный марксист, взял здесь у Ключевского верх над буржуазным публицистом. И, как всегда бывает с новой и свежей мыслью, ею стараются объяснить слишком много. Нет сомнения, что прямое вмешательство государства даже и в XVI веке было значительнее, чем изображает Ключевский. Классовое землевладельческое правительство (с 1565 г. отражавшее интересы не только крупно-феодальной верхушки, а всей помещичьей массы) не могло же в борьбе крестьянина и помещика соблюдать нейтралитет. Для XVII века этого прямого вмешательства не отрицает и сам Ключевский. Но характерно тут то, что, чем дальше от «борьбы со степью», тем это вмешательство смелее и бесцеремоннее. Первые указы, не мифические, а вполне реальные, о крестьянской крепости появляются на фоне помещичьей реакции после «Смуты», начиная с чрезвычайно характерного указа Шуйского (7 марта 1607 г.), закрепившего результаты разгрома болотниковского восстания: поражение крестьянской рати под Котлами и обратное взятие царскими войсками Коломенского имели место за три месяца до указа; в момент его издания правительство боярско-купеческой реакции всюду уже перешло в наступление, между прочим, и на фронте крестьянской политики. «Борьба со степью» была бы, в приложении к этому моменту, чистой иронией — поскольку при-

¹ Там же, стр. 406.

шедшие с границ степи казаки представляли собою наиболее боеспособную часть болотниковского ополчения.

А когда степь совсем скрылась за горизонтом русской внешней политики, прочно заменившись финскими болотами, указ Петра 1723 г. совершенно незаметно, мимоходом, смешал крестьян в одну кучу с холопами. И, как нарочно, максимума своего географического распространения крепостное право достигло именно в год завоевания русскими Крыма — как бы для того, чтобы окончательно обелить «борьбу со степью» от обвинения в содействии гибели крестьянской свободы. В 1783 году, когда Екатерина распространила крепостное право на Украину, вести борьбу было не с кем — в последнем гнезде «степных хищников» господствовали русские штыки. Но связь между их появлением в Крыму и распространением крестьянской крепости на всю площадь русского чернозема, конечно, была: Черное море теперь открылось для русской пшеницы, и черноземному помещику, как никогда, нужны были рабочие руки.

Таким образом, теорию «закрепощения» с удобством можно разрушить руками ее создателей.

IV.

В прошлый раз, товарищи, я дал вам характеристику главных течений русской исторической мысли, поскольку они отражали собою известные классовые интересы. Я сказал, что последняя из охарактеризованных мною концепций, способов понимания русского исторического процесса, является до некоторой степени синтезом, — она объединяет собою целый ряд предшествующих концепций. Именно в этом синтезированном виде все эти концепции — и чичеринская с ее закрепощением и раскрепощением, и соловьевская с борьбой со степью, и щаповская с влиянием географических условий, именно в этом синтезированном виде

эти концепции, сгущенные в виде экстракта, получили широкую популярность в русской интеллигенции под именем «Схемы русской истории» Ключевского. Нисколько не уменьшает достоинства Ключевского то, что все эти элементы понимания русского исторического процесса взяты у его предшественников—и в марксизме есть элементы, перешедшие к нам от предшествующих поколений: материализм от французских материалистов XVIII века, диалектика — от Гегеля и т. д. Разница только в том, что из всего этого у нас получилось химическое соединение, т.-е. нечто совершенно новое. Химическое соединение тем и отличается от элементов, входящих в его состав, что не похоже ни на один из этих элементов, — марксизм есть нечто совершенно самостоятельное.

У Ключевского мы имеем механическую смесь этих трех элементов, благодаря чему перед читателем, более или менее вдумчивым, схема Ключевского ставит целый ряд недоуменных вопросов. Поскольку у Ключевского выдвигается личность, является вопрос: как связать личность с географическими условиями? Он не дает даже прямого ответа на то, как связать с географическими условиями общество или государство. Таким образом, у Ключевского мы имеем не такой синтез, каким был марксистский, но тем не менее это нечто объединенное. И вот тот факт, что мы в конце развития имеем обобщающую схему, дает ответ на вопрос, который вы мне задали в прошлый раз: «А как нам быть с теми книжками, к которым вы не даете ключа в ваших лекциях?».

Ключевский наложил отпечаток на всю новейшую историографию, вы везде встретите осколки его влияния. Имея ключ к шифру Ключевского, вы имеете ключ ко всей русской историографии, и к Платонову, и к Милюкову, и ваше дело им воспользоваться применительно к зашифрованному тексту. Так что для большей части русской исторической литературы Ключевский дает великолепную исходную точку зрения. Только две группы

историков остаются вне ее: одну группу можно назвать юридической, а другую — федералистской.

Позвольте сказать два слова относительно этих двух групп. Легче всего расшифровать юридическую группу, которая начинается с Неволлина и кончается недавно умершим академиком Дьяконовым. Эта юридическая школа легче всего расшифровывается, поскольку у нее никакой исторической концепции нет и быть не может. Все эти юристы, один более, другие менее, стоят на той точке зрения, что юридические нормы — правовые категории — есть нечто вечное, оно изменению не подлежит, и когда юрист приступает к истории — для него вся задача заключается в том, чтобы отыскать применение этих норм.

Наиболее выразительным представителем этой категории является Сергеевич, оставивший очень полезную книжку «Русские юридические древности». Полезна эта книжка тем, что в ней имеется масса цитат из подлинных документов; она может быть вам полезна в качестве хрестоматии.

Точка зрения Сергеевича очень проста: он был непримиримым врагом Ключевского, издевался над ним, потому что Ключевский был бессознательным диалектиком. В вопросе о происхождении крепостного права, вы помните, Ключевский очень тонко и красиво прослеживает, как из частных договоров крестьян с помещиками в XVI веке постепенно складывалась в XVII веке крестьянская крепость, крестьянская неволя. Сергеевич издевается над этим. Договор есть договор: кто бы его ни заключал — египетский фараон 5 тысяч лет назад или теперешние помещики, никакой крепости из него получиться не может. Разве в результате заключения контракта на квартиру с домовладельцем для ваших потомков может получиться крепостное право? Сергеевич смеется над этим. Для него нет другого объяснения возникновения крепостного права, как закрепощение сверху. Были свободные люди, а получилось крепостное право. Как это вышло? Очень просто — при-

шел указ сверху. Вы видите, что отсутствие собственной концепции приводит Сергеевича к тому, что он принимает кусок чужой концепции — концепции Чичерина, которой он, в сущности, не разделяет.

Так называемые объективные историки, которые всячески отгораживаются от высказывания своих взглядов, невольно повторяют чужие взгляды; нельзя одной памятью брать факты: их надо объяснять.

И у Дьяконова факты группируются по известным юридическим категориям, которым он верит. Он тщательно воздерживается от всякого рода обобщений, но в конце концов у него получается схема, похожая на схему Ключевского.

Таким образом, по отношению к юристам можно сказать, что у них собран очень ценный фактический материал, которым нужно пользоваться, а расшифровывать тут ничего не нужно, ибо у вас определенный подход к юридическим нормам должен быть. Юридическая норма есть идеологическое отражение данного буржуазного хозяйства; это — самая простая расшифровка.

Что касается федералистов мелкобуржуазного отвлечения, которые представлены в исторической литературе Костомаровым и Грушевским, у них не может быть концепции русского исторического процесса, потому что вся суть их деятельности заключается в разрушении понятия единого русского исторического процесса. Вы знаете, что мелкая буржуазия в борьбе с надвигающимся на нее капиталом, в тех случаях, когда этот капитал чужой, т.-е. приносится людьми другого языка, свою оборону против надвигающегося капитализма облекает в форму национальной самозащиты. Мелкобуржуазный национализм есть по существу оборона против капиталистического гнета, идущего из центра. В особенности ясно это в наше время, когда в окружающих нас странах господствует империализм. В Индии, Египте, Китае это выражается в особенно отчетливой форме. Поэтому национализм

является известной формой мелкобуржуазной обороны против капитализма.

Костомаров — украинец (бывший раньше членом левого тайного украинского общества), мечтавший о самостоятельности Украины, борется с концепцией, в сущности, Карамзина, где вся суть русской истории заключается в образовании громадной империи. Для него это вовсе не суть. Для него суть в тех местных национальных движениях, которые были оппозицией против этого объединения; он берет, например, новгородскую общину и драматически изображает ее борьбу с Москвой. Он берет Смутное время, когда верхушка государства на время развалилась и на сцену выступают местные «миры»; в особенности он, конечно, интересуется историей Украины. С ее историей мы знакомимся, главным образом по Костомарову, тем легче, что он — превосходный рассказчик, один из самых художественных наших историков. Из его теоретических, не чисто описательных работ (в описании он особенно силен, надо сказать) лучшая посвящена происхождению московского единодержавия — гвоздю карамзинской схемы. Костомаров весьма остроумно изображает этот факт, как одно из отражений татарщины. Связь московских князей с Ордой, которую они ловко использовали в борьбе со своими тверскими, нижегородскими и другими конкурентами — несомненный факт. Но, конечно, объяснить этим возвышение Москвы значило бы вводить юридическую теорию с другого конца.

Суть дела не в том, от чьего имени, по чьему полномочию действовали московские князья; суть дела в тех экономических силах, которые выдвигали Москву, а на это Костомаров ответа не дает.

Костомаров — талантливый рассказчик, а Грушевский в своих первых томах, посвященных Киевской Руси, является наиболее свежим и наиболее европейским исследователем; поэтому я рекомендую вам I том Грушевского, как справочник для получения известных

сведений о Киевской Руси. Он опирается на новейшие археологические и лингвистические данные, но концепции никакой дать не может по самой сути дела и противопоставлять их обоим Ключевскому не приходится.

Теперь, товарищи, я перехожу к заключительной части своего курса—к характеристике тех отражений, изложенных мною буржуазных теорий, которые имели место в нашей марксистской литературе. Присутствующие, вероятно, ждут от меня изложения в этом пункте моих разногласий с т. Троцким, но от этого я уклонюсь, — т. Троцкий никакой книги, посвященной специально общей концепции русской истории, пока не дал. Его маленькое введение к «1905» издано для западно-европейских читателей его книжки, к которым он обращался, чтобы дать им элементарное понятие о русском историческом процессе. В первых двух главах он объясняет, откуда пришла революция. Мне казалось и продолжает казаться, что для русских читателей эти главы лишние, но т. Троцкий держится иного мнения; во всяком случае это не есть попытка самостоятельно перегруппировать материал. У т. Троцкого были две книжки: «Курс» Ключевского и «Очерк» Милюкова. Но Ключевского я разбирал, а Милюкова не стоит, ибо общая схема его есть повторение схемы Ключевского. Разбирая т. Троцкого, мне пришлось бы разбирать тех авторов, ключ к которым у вас уже имеется. Поэтому я предпочитаю заняться двумя другими марксистами, которые пытались самостоятельно пересмотреть сырой материал и на его основе дать свою концепцию русской истории.

Те два автора, о которых мне придется говорить — покойный Г. В. Плеханов и донныне здравствующий Н. А. Рожков, — оба не избежали большого влияния предшествующей историографии.

Плеханов закончил свою литературную карьеру большим трудом по русской истории; вышли три тома его «Истории русской общественной мысли». Это — книжка

очень полезная, поскольку в ней изложено содержание целого ряда памятников русской литературы, которые в подлиннике к вам в руки не попадут. Например, напомню изложение Пересветова или Крижанича; эти главы полезны даже для лектора.

Я не буду касаться ни ошибок ни положительных сторон Плеханова в тех его главах, где он излагает отдельные произведения русской общественной мысли, а возьму общую концепцию, общее понимание исторического процесса. Есть ли историческая концепция основоположника русского марксизма действительно марксистская?

Вот какую формулу исторического процесса давал Плеханов в те дни, когда он, безо всякого спора, был выразителем пролетарской идеологии — в 90-х годах прошлого столетия. «Всякая данная ступень развития производительных сил, — читаем мы в его тогдашней основной методологической работе, — необходимо ведет за собою определенную группировку людей в общественном производственном процессе, т.-е. определенную структуру всего общества. А раз дана структура общества, нетрудно понять, что ее характер отразится вообще на всей психологии и людей, на всех их привычках, нравах, чувствах, взглядах, стремлениях и идеалах. Привычки, взгляды, нравы, стремления и идеалы необходимо должны приспособиться к образу жизни людей, к их способу добывания себе пропитания (по выражению Пешеля). Психология общества всегда целесообразна по отношению к его экономии, всегда соответствует ей, всегда определяется ею. Тут повторяется то же явление, которое еще греческие философы замечали в природе: целесообразность торжествует по той простой причине, что нецелесообразное самым характером своим осуждено на гибель. Выгодно ли для общества в его борьбе за существование это приспособление его психологии к его экономии, к усло-

виям его жизни? Очень выгодно, потому что привычки и взгляды, не соответствующие экономии, противоречащие условиям существования, помешали бы отстаивать это существование. Целесообразная психология так же полезна для общества, как хорошо соответствующие своей цели органы полезны для организма».

Здесь дан совершенно отчетливый ответ на вопрос, как движется исторический процесс в пределах развития производительных сил. Оставалось ответить на дополнительный вопрос: что толкает вперед развитие этих последних? Плеханов и на это, в 90-х годах, давал ясный и точный ответ.

«Первоначальный толчок для развития общественных производительных сил дает сама природа, их рост в значительной степени определяется свойствами географической среды. Но отношение человека к географической среде не неизменно; чем больше растут его производительные силы, тем быстрее изменяется отношение общественного человека к природе, — тем быстрее подчиняет он ее своей власти. С другой стороны, чем больше развиваются производительные силы, тем скорее и легче совершается их дальнейшее движение: производительные силы в современной Англии растут несравненно быстрее, чем росли они, напр., в древней Греции. Именно этой-то внутренней логике развития производительных сил и подчиняется в последнем счете все общественное развитие, подчиняется по той простой причине, что общественные отношения, не соответствующие данному состоянию производительных сил, неизбежно устраняются: пример — рабство, которое перестало существовать, когда пришло в противоречие с производительными силами общества, т.-е., говоря проще, когда стало невыгодным. Само собою понятно, что это устранение отживших учреждений и отношений вовсе не происходит само собою, — нелепая мысль, которую часто приписывают диалектическим материалистам их противники.

Даром ничто никому не дается — эту старую истину прекрасно знают материалисты-диалектики»¹.

Короче, в виде очень сжатой схемы, Плеханов повторил еще эту формулировку в 1908 году, в «Основных вопросах марксизма».

«Если бы захотели кратко выразить взгляд Маркса—Энгельса на отношение знаменитого теперь „основания“ к не менее знаменитой „надстройке“, то у нас получилось бы вот что:

«1. Состояние производственных сил.

«2. Обусловленные им экономические отношения.

«3. Социально-политический строй, выросший на данной экономической „основе“.

«4. Определяемая частью непосредственно экономической, а частью всем выросшим на ней социально-политическим строем, психика общественного человека.

«5. Различные идеологии, отражающие в себе свойства этой психики».

Тут, конечно, есть кое-что новое — и это новое, без сомнения, замеченное уже читателем, заключается в несомненной попытке сколь возможно эмансипировать политический момент из-под влияния производительных сил. Отодвинуть его подальше от них. Но и отделенная более или менее толстой прослойкой «основа» все же остается на своем месте (хотя зачем-то и попадает в кавычки). Формулировка «Основных вопросов» все же еще приемлема для всякого марксиста.

И вот, автор всех этих формулировок принимается за изображение конкретного исторического процесса, общественного развития определенной страны, России. Как должен был он поступать?

Прежде всего, конечно, выяснить условия географической среды. Показать, как отразилась она

¹ «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», по изданию 1919 г., стр. 140—141 и 273.

на развитии производительных сил. Показать далее, какие на основе последних возникали группировки людей, классовые отношения. Выяснить, как эти отношения отразились на политической надстройке, которую, впрочем, автор «Монистического взгляда на историю» правильно не находил нужным выделять из «структуры всего общества»: государство, действительно, лишь самый верхний этаж этой структуры. Наконец, из этой структуры вывести «психику общественного человека», показать, как в данных условиях развития производительных сил развивалась в России «общественная мысль».

Подойти к географической среде русской истории было, сравнительно, нетрудно. Огромный и, при всей хаотичности, правильно, с точки зрения материалистического объяснения истории, ориентированный материал собрал уже Щапов в 1860-х — 70 гг. Синтезировавший все предшествующее развитие, включая и Щапова, Ключевский посвятил вопросу две лекции своего курса — из лучших в I части. Во всем этом не хватало диалектики: географические условия изображались, как равные себе на всем протяжении процесса, того изменения в отношениях человека и среды, которое подчеркивает Плеханов, не замечалось. Кому казалось бы, внести в этот, уже подобранный, материал диалектическую точку зрения, как не основоположнику диалектического материализма в России?

В действительности, как это ни удивительно, Плеханов проходит мимо всей этой груды ценнейших для него фактов. Как отправную точку историко-географического анализа, Плеханов берет одно из общих мест автора, писавшего ранее и Ключевского и даже Щапова — одно из общих мест Соловьева, который, обосновывая историческую неизбежность для России быть единым централистическим государством (мы — в 50-х годах, но забудем этого!), выдвигал на первый план «однообразие природных форм», «исключавших областные привязанности».

В одном месте своего четырехтомника я попрекнул как-то Соловьева «школярством» (по поводу его объяснения петровской эпохи). Это стяжало мне исключительную честь — быть названным на страницах «Истории русской общественной мысли» (вообще избегающей упоминать о марксистах, писавших по русской истории). Плеханов, длинно и нудно, по своей обычной манере последних лет, поучает своего читателя, какой я невежливый и невежественный человек, что решаюсь о Соловьеве (подумайте!) употреблять столь непочтительные термины. Мое уважение к Соловьеву, одному из умнейших и, без всякого сравнения, образованнейшему русскому историку XIX столетия, не меньше плехановского. Но на «школярстве» я все-таки продолжаю настаивать. Виноват в нем не Соловьев, а качества его аудитории. Как все профессорские произведения, исторические писания Соловьева выросли из его лекций. А эти лекции читались публике, по своему развитию стоявшей не выше теперешних школьников второй ступени (очень извиняюсь перед последними). С этой публикой приходилось говорить наиболее простым и общедоступным языком, начинать с самых элементарных обобщений. Соловьеву нужно было доказать, что централизованная империя Николая I (да, вот давно как это было!) есть осуществление той идеальной цели, к которой стремилась российская история «с древнейших времен». Для сидевших перед ним, фактически гимназистов, еще не решивших окончательно, какой мундир лучше, студенческий или гусарский¹, «однообразие природных форм» было, конечно, аргументом силы потрясающей. Для нас — это фраза из гимназического учебника пятидесятых годов XIX века.

Но посмотрите, как носится с этой фразой Плеханов («История русской общественной мысли» I, стр. 32

¹ Такой анекдот был ни более, ни менее, как с Лермонтовым. Не смейтесь!

и сл.). Как обстоятельно и учено, с цитатами из Маркса, с параллелями из биологии пытается он еще более разжевать своему читателю «ценную мысль», которая без всякого разжевывания была понятна дворянским гимназистам времен Крымской войны. Общие места Соловьева «до сих пор», видите ли, «слишком мало принимались в соображение теми писателями, которые задумывались о причинах относительной самобытности русского исторического процесса».

Между тем, если даже на минуту отнестись серьезно к обобщению Соловьева и признать за ним не только педагогический, но и некоторый научный смысл, то оно фактически верно лишь для Российской Империи начала царствования Екатерины II, для середины XVIII столетия. Только оставаясь в пределах этого периода, когда еще не вошли в сельско-хозяйственную эксплуатацию южно-русские степи, и принимая Россию за чисто земледельческую страну, можно говорить об «однобразии природных форм». Уже для конца царствования Екатерины, 1790-х годов, утверждение было бы устарелым: распашка «новороссийского» чернозема, создала два типа земледельческого хозяйства, типа, разница которых была настолько глубока, что ею обосновалось подклассовое деление класса русских землевладельцев, деление, легшее в основу конфликтов, связанных с «крестьянской реформой». «Освобождение крестьян» выглядело бы иначе — и не так нуждалось бы в кавычках — если бы у нас существовал только один тип нечерноземного помещика, дворянина-манчестерца, и не было другого типа черноземного, степного помещика-плантатора. Если же мы возьмем промышленный период русского развития, XIX век, то нам придется привлечь к делу и криворожскую руду, и донецкий уголь, и бакинскую нефть, и туркестанский хлопок, и мы наткнемся на такое разнообразие природных условий, которое побьет все европейские рекорды и найдет себе соперника только в Америке, в Соединенных Штатах. Для Соловьева, в 50-х годах,

это было будущее — и, как историк, он не обязан был с ним считаться, но для Плеханова, выпустившего свою книгу в 1914 году — это было уже прошлое: игнорировать его — значило отказаться от объяснения ближайшей к нам, и самой интересной для марксиста, части русского исторического процесса.

Итак, что дало исходный толчок развитию производительных сил на русской равнине, остается невыясненным: мы узнаем, в сущности, лишь в чем заключался географический фундамент российского «единодержавия» по мнению русских историков конца царствования Николая I. Проще говоря, приступая к изучению «Истории русской общественной мысли», читатель Плеханова — ежели он только не прочел раньше хотя бы Ключевского — о «географической среде» ничего не узнает. Зато он узнает хоть, как развивались самые-то производительные силы? Увы — и этого нет. Он убедится только лишний раз, что Плеханов ценил историков, как доброе вино — чем старше, тем лучше.

Пленившись одним обобщением I тома соловьевской «Истории России с древнейших времен» (напомним еще раз, что этот том вышел в начале 50-х годов), Плеханов приводится в еще больший восторг другим обобщением — все того же типа. „Великая равнина, — продолжает он выписывать Соловьева, — открыта на юго-востоке, соприкасается непосредственно со степями Средней Азии, толпы кочевых народов с незапамятных пор проходят в широкие ворота между Уральским хребтом и Каспийским морем и занимают привольные для них страны в низовьях Волги, Дона и Днепра... Азия не перестает высылать хищные орды, которые хотят жить на счет оседлого народонаселения: ясно, что в истории последнего одним из главнейших явлений будет постоянная борьба со степными варварами“.

Глубина этого обобщения не больше, чем предыдущего. Его связь с практическими задачами русской политики времен Соловьева и его фактическая несостоя-

тельность мною подробно разобраны в другом месте ¹ — и я позволю себе здесь к этому не возвращаться. Здесь для нас не важно, что оно еще раз, и уже окончательно, сбивает Плеханова с той дороги, которую он сам считал единственно правильной.

«Как же повлияла эта продолжительная борьба с кочевниками на внутреннее развитие России?» — спрашивает Плеханов, и вы чувствуете трепет человека, который, наконец, нашел ключ к давно мучившей его загадке. С. М. Соловьев, — продолжает Плеханов, — делает лишь некоторые намеки на решение этого важного вопроса. Сам он не принадлежит к числу тех историков, которые приписывали борьбе с кочевниками решающее влияние на судьбу русского племени. Известно его замечание о татарах: татары (после покорения Руси. Г. П.) остались жить вдалеке, заботились только о сборе дани, нисколько не вмешиваясь во внутренние отношения. Поэтому мы должны понимать С. М. Соловьева в том смысле, что все эти другие кочевники еще более, чем татары, „оставляли все, как было“. А если это так то в чем же сказалось влияние борьбы с кочевниками на внутреннюю историю России? Соловьев признавал, как видно, что, оставляя „все, как было“, кочевники своим влиянием замедляли или ускоряли естественное развитие внутренних отношений русского общества. „Мало того, что степняки или половцы сами нападали на Русь,—говорит он,—они отрезывали ее от черноморских берегов, препятствовали сообщению с Византиею. Русские князья с многочисленными дружинами должны были выходить навстречу к греческим купцам и провожать их до Киева, оберегать от степных разбойников; варварская Азия стремится отнять у Руси все пути, все отдушины, которыми та общалась с образованной Европой“. Но если это так, то очевидно, что и кочевники повлияли на нашу внутреннюю историю, прежде всего,—и, может-быть, главным образом, — тем, что замедлили

¹ См. выше лекцию III.

наше экономическое развитие. К сожалению, С. М. Соловьев не останавливается на рассмотрении этого важного вопроса»... «Кочевники „только“ опустошали Русь или брали с нее дань. Поэтому С. М. Соловьев говорит, что они оставляли, все как было. Но если опустошения задерживали внутреннее развитие того, что было, то они тем самым могли придать этому развитию новое направление, более или менее отличное от того, которое оно получило бы при другом историческом соседстве. Конечно, разница в скорости развития есть лишь количественная разница. Но, постепенно накапливаясь, количественные различия переходят, наконец, в качественные. Кто знает? Может быть, опустошая Русь и, стало-быть, замедляя рост ее производительных сил, хищные номады способствовали возникновению и упрочению известных особенностей и в ее политическом строе»...

Попав на эту зарубку, Плеханов так и не сходит с нее уже до конца. О развитии производительных сил России читатель от него ничего не узнает, если не считать беглых, попутных замечаний по поводу «поистине замечательного труда» В. А. Келтуялы («Курса истории русской литературы») на стр. 37 — 45 I тома «Истории общественной мысли». Начавшись довольно правильными соображениями насчет относительного значения лесных промыслов и земледелия в древне-русском хозяйстве и кончаясь весьма сомнительного достоинства рассуждениями о превосходстве меча над саблей — или сабли над мечом, Плеханов оставляет вопрос открытым — никакого влияния на ход исторического процесса различных военнохозяйственных фактов эти замечания не устанавливают. Характерно только явное скольжение от экономического момента (земледелие — лесные промыслы — скотоводство) к военно-техническому (сабля — меч); тенденция — подальше от экономики, поближе к политике — чувствуется все определеннее. Скоро она окончательно берет верх. Нимало не смущаясь фактом, что «производительные силы» по-

прежнему для него и его читателя остаются иксом, Плеханов все свое внимание сосредоточивает на вопросах: какие политические причины задерживали развитие этого икса и какие политические последствия эта задержка имела.

Он явно досадует, что Соловьев не сумел извлечь из своего нового общего места — пресловутой «борьбы со степью» — всех возможных логических последствий. («С. М. Соловьев делает лишь некоторые намеки на решение этого важного вопроса. Сам он не принадлежал к числу тех историков, которые приписывали борьбе с кочевниками решающее влияние на судьбу русского племени». На самом деле это неверно: Плеханов считался только с «Историей» и упустил из виду последнюю предсмертную статью Соловьева, цитированную нами выше, где все строится на борьбе «леса» и «степи»). И он спешит этот пробел пополнить. У него-то уже ничто не увильнет от этого «классического» объяснения — ни классовый состав русского общества, ни его, этого общества, политическое возглавление!

Почему Россия больше похожа на Азию, чем на Европу? Ключевский в своем географическом обзоре приводит ряд остроумных сближений, показывающих, как русская равнина в целом ряде отношений (пропорция моря и суши, устройство поверхности и т. д.) ближе к своим соседкам на восток, равнинам северной и средней Азии, нежели к Западной Европе. От Вислы и Карпат до Великого океана мы имеем, в сущности, один географический комплекс. Не следует преувеличивать исторического влияния этого сходства, но что однообразие, например, водных речных путей, так привычных русскому, очень облегчало быстрое продвижение на восток наших сибирских конкистадоров, а следом за ними и быструю колонизацию Сибири, — это не подлежит сомнению: как и то, что будь, вместо равнины, в этом направлении хороший горный хребет, вроде Кавказского, и завоевание и колонизация наткнулись бы на затруднения, для XVII века неодолимые, — о завоева-

нии Кавказа и обрусении Закавказья до XIX века русскому империализму не приходилось и думать. В Сибири же не приходилось над этим задумываться. В сближениях Ключевского есть несомненный смысл для историка-материалиста. Но Плеханова это мало интересует. Для него «азиатизм» России, которому он придает даже преувеличенное значение, имеет совсем другой источник. Он берет не географическую характеристику Ключевского, а другое место «Курса», где тот объясняет сходство России и Азии, а основные мотивы русских былин, «углубляет» мысль московского историка и получает то, что требовалось.

«Борьба со степным кочевником, половчином, злым татаринном, длившаяся с VIII почти до конца XVII в., — говорит проф. Ключевский, — самое тяжелое историческое воспоминание русского народа, особенно глубоко врезавшееся в его памяти и наиболее ярко выразившееся в его былевой поэзии. Тысячелетнее и враждебное соседство с хищным степным азиатом — это такое обстоятельство, которое одно может покрыть не один европейский недочет в русской исторической жизни». Это справедливо может-быть более, чем предполагал сам проф. Ключевский. Даже те «европейские недочеты», которые, на первый взгляд, не имеют прямого отношения к тысячелетнему соседству с кочевниками, при более внимательном рассмотрении оказываются следствиями замедленного борьбой с кочевниками экономического развития России».

Хотите ли вы знать, почему у нас не сложилось могущественной феодальной аристократии, подобной Западу или хотя бы Польше? Ларчик открывается просто. «Мы уже знаем, что борьба с кочевниками, увеличивая власть князя как военного сторожа русской земли, вместе с тем замедляла экономическое развитие Руси, чем мешала возникновению в ней, за исключением Волыни и Галиции, — влиятельного боярства, способного выставить определенные политические требования и, в случае надобности, поддержать их силой. Те условия, в кото-

рых очутилось русское население, перебравшееся с юго-запада на северо-восток, еще более усиливали эти „европейские недочеты в русской исторической жизни“ и тем содействовали постоянному сближению русского общественного быта и строя с бытом и строем великих восточных деспотий» .

И уже легче легкого из той же универсальной причины вывести московское самодержавие. Тут даже можешь сослаться на Энгельса. «Чтобы обезопасить себя от внешних нападений, — например, от набегов тех же кочевников, которые и на северо-востоке не оставляли в покое русского земледельца, — обитатели подобной деревни будут расположены поддерживать всеми зависящими от них средствами усиление центральной власти, сосредоточивающей в своих руках оборону страны, расширение подчиненной ей территории: чем больше такая территория, тем больше людей может быть привлечено к делу ее обороны. И мы в самом деле видим, что северо-восточные и русские крестьяне охотно способствуют увеличению княжеской власти и расширению государственной территории. Знаменитое „собрание Руси“ великими московскими князьями могло идти так успешно только потому, что „собираательная“ политика пользовалась горячим сочувствием со стороны народа. Но в то же самое время северо-восточные русские земледельцы, рассеянные в лесной глуши и разбитые на крошечные поселки, были бессильны против притязаний и злоупотреблений этой, их же нуждами и их же сочувствием укрепившейся, центральной власти: крошечная деревенька в два-три двора могла оказать только пассивное сопротивление московским посягательствам на ее свободу, а все остальные деревеньки были слишком разобщены с нею, чтобы поддержать ее в роковую для нее минуту; напротив, они же и дали бы Москве средства для борьбы с „воровством“ непокорных поселков. Если, по замечанию Энгельса, деревенские общины всюду, от Индии до России, служили экономической основой деспотизма, то одна из самых главных причин

этого явления лежит в условиях натурального хозяйства, исключаящих экономическое разделение труда и разбивающих все земледельческое население обширного государства на небольшие группы, не нуждающиеся одна в другой, а потому и равнодушные друг к другу именно в силу полного тождества их экономического и общественного положения»¹.

А чтобы читатель от этой мысли Энгельса не впал, чего доброго, в «экономический» материализм, в примечании назидательно напоминает: «К этому надо прибавить уже хорошо знакомое нам влияние кочевников, которое теперь выражалось, между прочим, в следующем: «со времени татарского господства князья усилили владычество на земле и на живущих на ней, потому что должны были отвечать за исправность платежей, следовавших ханам с земли и ее обитателей» («Промышленность древней Руси», Н. Аристова. СПб. 1866, стр.49).

Это ли не мастерство — сочинение специально по экономической истории России использовать для того, чтобы лишний раз отгородиться от экономики и восстановить «чистую политику» в ее неотъемлемых правах!

Ибо основная задача Плеханова в том и состояла, чтобы поставить незаслуженно возвеличивавшуюся им в 90-х гг. экономику «на свое место». Наивно было бы думать, что этот тонкий наблюдатель не замечал банальности и поверхностности обобщений Соловьева, которыми он восхищается. Соловьев был нужен Плеханову, чтобы помощью солидного авторитета обосновать собственную мысль: в России экономика давала лишь самый сырой, первичный материал в образе «натурально-хозяйственных отношений». Все формы лепила из этого сырого теста политика — та политика, самодовлеющего значения которой упорно не хотели понимать большевики, выдвигавшие на первое место национализацию

¹ «История русской общественной мысли», т. I. стр. 52, 55, 74 и 75.

земли, диктатуру пролетариата и крестьянства и тому подобные, русской серости совсем неприличные, вещи. Надо было показать, что в формально-политическом моменте, трактуемом большевиками так презрительно, вся суть дела; что прав был Плеханов и кадеты, когда они советовали сначала обеспечить себе эту формально-политическую сторону, завоевать хорошую конституцию, а потом уже разговаривать и о захвате власти. Действовать наоборот — значило идти против течения всего русского исторического потока: и надо было это показать невежественным людям. Формально-политический момент, воплощенный в созданной потребностями национальной обороны государственной власти, сотворил Россию со всем ее общественным строем, а они этот момент игнорируют.

И вот, со ступеньки на ступеньку, мы у знаменитой теории закрепощения. «Значительно отставая от своих западных соседей в хозяйственном отношении, Московская Русь XVII века вела с ними продолжительные войны. Вследствие этого ей пришлось затрачивать все большую и большую долю своих средств и сил на поддержание органов самозащиты. В стране, продолжавшей оставаться колонизирующейся страной, это роковым образом вело ко все большему и большему закрепощению всех слоев населения, а в особенности трудящейся массы, для непосредственной или посредственной службы государству... Общественно-политический быт русского государства представлял собою как бы двухъярусное здание, в котором закрепощение обитателей нижнего яруса оправдывалось закрепощением обитателей верхнего: крестьянин и посадский человек были закрепощены для того, чтобы дать дворянину экономическую возможность нести свою крепостную службу государству... При сопоставлении этой особенности с тою, которую мы отметили, сравнивая общественно-политический строй Московского государства со строем западно-европейских стран, у нас получается следую-

ший итог: государство это отличалось от западных тем, что закрепостило себе не только низший, земледельческий, но и высший, служилый, класс, а от восточных, на которые оно очень походило с этой стороны, — тем, что вынуждено было наложить гораздо более тяжелое иго на свое закрепощенное население ¹.

Теории этой пишущий настоящие строки отдал достаточно внимания в своей статье «Откуда взялась теория внеклассового происхождения русского самодержавия» ² и в предыдущих лекциях. Повторять детально развитую там аргументацию не имеет смысла, — напомним только, что родоначальником теории является Б. Н. Чичерин, идеологический предок позднейшего «Союза 17 октября», и что сложилась она в эпоху «освобождения крестьян», когда Чичерину даже Герцен казался ярко-красным якобинцем. В названной статье выяснены и причины долговечности схемы, понадобившейся первоначально, собственно, русскому помещицкому центру перед 19 февраля. Классовое происхождение схемы вне сомнения — и усвоение ее Плехановым служит лучшей иллюстрацией того, к чему приводит уклонение от принципов исторического материализма, когда-то так красноречиво развитых тем же Плехановым.

С первого взгляда может показаться, что Плеханов просто усвоил себе буржуазное понимание русского исторического процесса и что он никакой, более или менее оригинальной, «группировки людей» не представляет. Дело, однако, не так просто. Буржуазная схема понадобилась ему не сама по себе, а как средство для обоснования некоторой, опять-таки своей мысли. Эту свою мысль он формулировал так на стр. 110: «Но одной из замечательных особенностей русского исторического процесса явился тот факт,

¹ «История русской обществ. мысли», том I, стр. 203 — 4, 107, 86.

² «Вестник Социалистической Академии», №№ 1, 2 и 4. Перепечатано в сборнике «Марксизм и особенности исторического развития России», Ленинград, 1925, изд. «Прибой».

что наша борьба классов, чаще всего остававшаяся в скрытом состоянии, в течение очень долгого времени не только не колебала существующего у нас политического порядка, а, напротив, чрезвычайно упрочивала его».

Для того, чтобы иллюстрировать это на одном примере, который является типичным для характеристики классовой борьбы в древней Руси, лучше всего взять отношение Плеханова к казачеству. Казачество — это тот элемент русского крестьянства и мелкого городского населения, который эмигрировал за рубеж, но периодически пытался вернуться в то общество, которое вытеснило его из себя, и преобразовать это общество по своему — особенно характерно это у Разина, но это встречается и у Пугачева, — подчинить общество своему казацкому влиянию. Но когда мы имеем дело с казаками, то трудно стать на точку зрения сотрудничества классов: «коготок увяз — всей птичке пропасть». В вопросе о казаках Плеханов усваивает идеологию уже и не Соловьева, а прямо и непосредственно Чичерина. Чичерин был непримиримым врагом казачества исторически. Для характеристики явлений, несимпатичных ему в нашей литературе 60-х годов, он постоянно пользовался этим термином: «Чернышевский — представитель умственного и литературного казачества». Хуже этого он ничего не мог сказать: казаки — прирожденные анархисты. Вот, что говорит Плеханов:

«Прав Соловьев и в том, что казаки были для русского государства подчас опаснее самих кочевых орд. Однако, этими указаниями еще не исчерпывается вопрос о роли казацких удальцов в истории русского общественного развития. А так как он сильно интересовал когда-то наших народников, то нам приходится досказать то, чего не досказал покойный историк.

«Предприимчивые, подвижные, по необходимости воинственные, казаки временами переходили в наступление, и тогда они действительно становились для Москвы опаснее, чем „кочевые орды“, которые, впрочем, не-

редко выступали их союзниками в борьбе с нею. Они много причинили ей хлопот в Смутное время, хорошо „тряхнули“ ею в царствование Алексея Михайловича (Ст. Разин), а потом не на шутку перепугали и Петербург в царствование Екатерины II (Е. Пугачев)».

«Протест казаков был исторически бесплоден, и, в конце концов, они превратились в орудие угнетения той самой народной массы, из которой они когда-то вышли и которая величала их „добрыми молодцами“, любясь их удалыми подвигами, как выражением своего собственного протеста... Проф. С. Ф. Платонов нашел интересную отметку о донских казаках от 22 декабря 1613 г., т.-е. от того времени, когда, несмотря на избрание Михаила Федоровича, смута далеко еще не была окончена. Отметка гласит, что „они-де во всем царскому величеству послушны и на всяких государевых недругов стоять готовы“. Конечно, отметка слишком сгущала краски. Донские удалыцы еще не один раз сами превращались потом в „государевых недругов“. Но, как сказано, их общественный протест вышел исторически бесплодным. А их служба государству, в конце концов, сделала их одним из удобнейших орудий борьбы реакции с истинно-освободительным движением народа. Так что в последнем счете история вполне оправдала отметку».

Казаки были такой же ордой в глазах Плеханова, как татары и половцы. Итак, открытая борьба классов, поскольку она и проявлялась в русской истории, дала только чисто отрицательные результаты. Этот единственный случай — случай явно ненормальный. Как норма, открытая борьба классов не характерна для русской истории. Потребности государственной обороны притушили эту борьбу и, во всяком случае, отодвинули ее на второе место. Оттого и «промежуточные», и «внеклассовые» партии, вроде кадетов, могут у нас играть совсем иную роль, чем на Западе. И не только «так было», но и «так будет»: потребности обороны всегда будут сглаживать классовые противоречия. «Ход разви-

тия всякого данного общества, разделенного на классы, определяется ходом развития этих классов и их взаимными отношениями, т.-е., во-первых, их взаимной борьбой там, где дело касается внутреннего общественного устройства, и, во-вторых, их более или менее дружным сотрудничеством, где заходит речь о защите страны от внешних нападений. Стало-быть, ходом развития и взаимными отношениями классов, составлявших русское общество, и должно быть объяснено неоспоримое относительное своеобразие русского исторического процесса»¹.

«Относительное своеобразие русского исторического процесса» заранее обосновывало оборончество группы «Единство». Мы видим, до какой степени близоруко было бы причислить Плеханова к сонму тех социал-демократов, которых неожиданный сюрприз войны загнал в лагерь «защитников отечества». Первый том его «Истории» уже вышел из печати, когда еще, кажется, и Фердинанд Австрийский был жив и когда говорить о надвигающейся войне считалось для доброго марксиста безусловно неприличным: стыдно помогать рекламе пушечных заводчиков. Не испуг, а теория загнала Плеханова к оборонцам — теория, отражавшая интересы отнюдь не класса предпринимателей (которые в России и оборонцами стали далеко не сразу), а их образованных слуг, того слоя, который можно назвать технической интеллигенцией.

Этот слой уже успел создать на Руси свою идеологию. То была идеология «легального марксизма», не отрицавшего влияния бытия на сознание, но отрицавшего классовую борьбу и воспевавшего, в лице Струве, внеклассовое государство. Это марксизм без революции был вполне приемлем и для левого крыла кадетов, многие из которых, в теории, мало отличались от правых меньшевиков.

¹ «История русской общественной мысли», т. I, стр. 11.

Этому слою пужна была не только своя «внеклассовая» власть, но и своя «философия русской истории» — не революционная, ибо он смутно предчувствовал свою судьбу в дни массового революционного движения (уже в декабре 1905 г. его принудительно заставляли питаться черным хлебом), но все же почти материалистическая, с классами, но без борьбы классов, по возможности. Во внешней политике этот слой был большим патриотом, нежели предприниматели, ибо он представлял интересы русского капитализма в целом, русского капитализма, как такового, а рядовой предприниматель представлял интересы только своего собственного капитала. «Оборона страны» для него была менее звуком, чем для «толстосума» (с толстой сумой везде хорошо!) — и слы громче и искреннее кричал «ура», чем кто бы то ни было, когда Германия на нас «напала» в 1914 году.

Этому слою нужен был свой идеолог — и он нашел его в лице Плеханова после 1905 года. Последний не просто поддался влиянию буржуазных книжек. Буржуазные книжки были ему нужны для обоснования его собственных мыслей, но обосновывал-то он теперь не наступательные стремления пролетариата, а оборонительные со всех сторон стремления того общественного слоя, который командовал пролетариатом от имени капитала, но не прочь был стать командиром и от своего собственного имени.

На Рожкова у меня остается так мало времени, что я очень извиняюсь перед ним за то, что я скажу против него и чего не скажу против него.

Что представляет из себя Рожков? Я, опять-таки, не буду касаться отдельных взглядов Рожкова на отдельные явления русской истории, а постараюсь заняться его общей концепцией и дать общую характеристику. Как он себе представляет развитие общества?

«Представляя себе, таким образом, развитие общества как единый и цельный процесс, развертывающийся с закономерной необходимостью из хозяйственных

условий, дальнейшее звено этой цепи мы видим в социальных отношениях, при чем в сфере этих последних первенствующее место принадлежит классовому строю. Естественным продолжением этого является политический строй, выражающий интересы господствующих классов, и духовная культура, в которой объединяющим элементом служит психический тип. Как классовые отношения с необходимой и постоянной последовательностью вытекают из хозяйственных условий и в соответствии с эволюцией последних сами развиваются, не являются неподвижными, так и государственный строй подчинен классовой эволюции, и психология общества есть всегда в сущности психология его отдельных классов, и опять-таки не неподвижная, а последовательно, закономерно развивающаяся. Психология каждого класса в данный момент отличается и от психологии того же класса в другое время. И все эти различия, проявляясь в истории духовной культуры разных народов, находят себе яркое выражение в смене психических типов».

Все как будто бы благополучно — концепция почти, как у Плеханова, но есть одна маленькая черточка, очень характерная. Вы помните, что Плеханов в своей первоначальной, «классической» можно сказать, постановке социальный и политический строй объединяет в одну категорию, исходя из положения Маркса, что правительство есть исполнительный орган господствующего класса. Рожков это разъединяет. Для него политический строй выражает интересы господствующих классов, но это не есть организация этих классов. Это выделение политического строя на особую ступень, хотя и кажется мелочным, но все же характерно, и особенно оно характерно при свете последних событий, которые сорвали много завес, между прочим, и с этого секрета — связи политического и социального лозунга. В «мирные» времена социальный материк власти, действительно, скрыт — для непосвященного взгляда — под «политической надстройкой». Но общественные

катастрофы грубо обнажают материк, и мы тогда видим, много ли значат политические формы, как таковые. Ну, какую роль играл у нас в 1917 г. лозунг монархии или республики? А лозунг Учредительного Собрания? Когда его разогнали, то иные обыватели думали: «батюшки, что будет — оскорбили народную волю», а народ даже не почесался. Политический лозунг отступил на задний план, а социальная природа выступила на передний план. Важно было, в чьих руках, в руках какого класса власть, а то, как она организована — вопрос второстепенный. Это дает ключ к целому ряду явлений, напр., к тому, почему одна из самых сознательных буржуазных демократий — английская — мирится и с королем и с палатой лордов. Политический момент есть второстепенный, а у Рожкова он равноправный.

Но главное не в этом. Рожков начинает с фразы, которую его поклонники глотают так же спокойно, как стакан воды: в основе лежат хозяйственные условия. Значит — марксист, о чем же больше толковать? Но это далеко не так просто. С каких хозяйственных условий начинает Рожков свой анализ? Что такое «хозяйственные условия»? Для него они следующие: добывающая промышленность, обрабатывающая, земледелие, скотоводство, раньше всего — охота. Это деление на экономические категории для марксиста несколько неожиданное. Разве марксизм объединяет по этому принципу, разве можно объединить в одну категорию деревенского кузнеца и Путиловский завод на том лишь основании, что они относятся к обрабатывающей промышленности, в частности к металлургии? Деревенский кузнец — это одна категория, а Путиловский завод — другая.

Возьмите схоту — разве какая-нибудь капиталистическая организация охоты, вроде компании Гудзоновского залива, или Русско-Американской компании это то же, что охота первобытных краснокожих? И тут и там — охота. Охотой занимаются и краснокожие и

Гудзоновская компания, но никто не скажет, что это одно и то же. Для нас «революцией» является переход от мелкого производства к крупному, машинному — мы говорим, например, о «промышленной революции» в Англии в XVIII столетии. У Рожкова же переход от скотоводства к земледелию является экономической революцией.

«Таким образом, рассматривая в целом соотношение разных отраслей хозяйства в России X, XI и XII веков, надо признать, что основною новою чертою здесь являлось быстрое увеличение удельного веса земледельческого производства: оно по своему значению стало почти уже равняться добывающей промышленности и скотоводству. То была целая экономическая революция, из которой последовательно с железной необходимостью произошел целый ряд крупных перемен в хозяйстве, обществе и государстве».

Для Рожкова революция — это появление «земледельческого производства».

Итак, когда Рожков и марксисты говорят о «хозяйственных условиях» — это не одно и то же. И это повторяется во многих местах. Так, например, Рожков говорит: «В хозяйстве варварских обществ наблюдается преобладание уже не только добывающей промышленности (охоты, рыболовства, пчеловодства), но также и скотоводства, при второстепенном значении земледелия, и иногда еще внешней торговли. Это — категории, странные для нас, которые в наше марксистское сознание входят с большим трудом».

Не более благополучно обстоит у Рожкова со следующей ступенькой — связью «хозяйственных условий» и политик с «психологией общества». Ошибки, которые делает в данном случае Рожков, тем любопытнее, что они имеют не только отрицательное значение — помогают провести водораздел между ним и марксистами, но помогают установить и положительный признак, наметить ту общественную группу, к которой Рож-

ков идеологически, несомненно, ближе, чем к пролетариату.

«Мы, — пишет он, — полагаем в основу социологии духовной культуры понятие „психического типа“. Что же лежит в основе самого этого «типа»? «...первостепенное значение в психической жизни имеют эмоции и теория ассоциативной связи». (Рожков, т. I, стр. 14—15).

«Ассоциативная связь» есть «формальное» условие — «материю» психической жизни дают, таким образом, эмоции. А каково происхождение этих последних?

«Физическая сторона эмоций, по Сутерланду, состоит в изменении тонуса или напряжения сосудистой системы нашего тела. Существуют две категории эмоций — эмоции, повышающие и понижающие телесную энергию, так как иногда животному надо было защищать себя, иногда уклоняться от опасности. Эмоции сначала были автоматическими, просто изменениями в кровообращении; только потом рефлекс, начинающийся внешним стимулом и оканчивающийся сокращением мускула, стал проходить через сознание. Первые признаки страха замечаются у червей, первые признаки полового чувства — у насекомых. Но у холоднокровных животных эмоции слабы, эмоциональность связана с теплокровностью». (Там же, стр. 16).

Вы, конечно, уже сами вспомнили Щапова с его медленно-текущей в жилах кровью северян, как основой русского народного темперамента. В самом деле, это подлинная щаповщина, до-марксистский исторический материализм. Что «изменение тонуса» может воздействовать на общественную природу человека лишь через общественные отношения — этого вопроса для Рожкова не существует. Во всем дальнейшем анализе (том I, стр. 17—20) он считается, как и его источник — Сутерланд, исключительно с индивидуумом, а не с членом общества.

Мы приближаемся к социальному материку, на котором стоит Рожков. Присматриваясь к его взглядам, мы все более и более находим то, что роднит его

с до-марксистским историческим материализмом. Возьмите его деление на статику и динамику. Откуда оно взялось? Рожков взял его не у Маркса или Энгельса, — для диалектика самое понятие «статики» есть нечто чуждое, — он взял его у позитивистов, типично мелко-буржуазной разновидности полуматериализма, предполагавших, что то или иное явление может пребывать «в покое» и что так, конечно, очень удобно его рассматривать. Для марксиста ничто никогда не остается «в покое» — такие уж мы беспокойные люди. Между тем Рожков «статику» явно любит больше, чем «динамику» — вся его периодизация, так восхищающая его немарксистских критиков, построена на сравнении статических характеристик, при чем нужно сказать, тут уж и материализму — хотя бы до-марксистскому — иной раз плохо приходится. Возьмите его основную периодизацию всей культурной истории.

«Девять основных периодов можно различить в истории каждого общества, каждой культуры. Периоды эти следующие:

1. Первобытное общество.
2. Общество дикарей.
3. До-феодалное общество или общество варваров.
4. Феодалная революция.
5. Феодализм.
6. Дворянская революция.
7. Господство дворянства.
8. Буржуазная революция.
9. Капитализм».

Я очень извиняюсь, но мне эта периодизация напомнила издевку старого Льюиса над Аристотелем, будто бы делившим животный мир на «людей, четвероногих, лошадей, ослов и пони». Только 9-ая рубрика построена на чисто-экономическом признаке. 1-ый и 2-ой периоды охарактеризованы по признаку общекультурному; 3-ий, 4-ый, 5-ый и 8-ой — по признаку социальному, в основу положено строение общества, в 6-ом и 7-ом мы благополучно скатываемся к признаку юридическому.

Дворянство — это юридическая категория, это — известное сословие. Это не экономическая, не социальная категория.

Как видите, и в области статике дело обстоит не совсем благополучно — может-быть потому, что этой, важнейшей для него, области он не уделил достаточного внимания. Он сам это смутно сознает: «строго говоря, следовало бы предпослать социальной динамике социальную статику», — пишет он (I, 14). Но уже то, что он признает возможным рассматривать «общественное явление» «в состоянии покоя» (там же), достаточно характеризует его основной дефект. Он не там, где его видит сам автор. «Это схематично, это чересчур схематично» — слышится ему упрек воображаемых критиков. Это не диалектично — имеют полное право сказать ему его действительные критики из марксистского лагеря.

Рожков ближе к Шапову, чем к Плеханову классической поры: от Плеханова-упадочника он далек, на этот раз к величайшей своей выгоде. И это последнее расхождение не случайно. Ни Плеханов дней своего заката, ни Рожков на всем протяжении своей деятельности не являются идеологами рабочего класса: но они представляют, идеологически, разные общественные группы. Плеханов, — мы видели, — отражает интересы технической интеллигенции, так бурно нарождавшейся у нас в последние десятилетия XIX века. Она не прочь была от перемен — только не революционных. Она готсва была принять марксизм и даже диалектику, в качестве учения о вечном и постоянном изменении, но без борьбы классов. Рожков не прочь от революции, но революция для него не борьба непрерывно движущихся, переплетающихся между собою общественных сил. Революции для него — столкновения твердых, как дерево, кусков, фетишизированных общественных форм. Он как-будто хочет заморозить явления, чтобы удобнее с ними оперировать, превратить их в куски, не связанные друг с другом, а не в ча-

сти живого общественного процесса. В то же время он искренний социалист — я говорю только об общественной стороне. Какой общественной формации принадлежит такой социализм? Я только-что слышал здесь, что Рожков пользуется особенным авторитетом среди учителей. Это великолепно гармонирует с его системой. Учитель — это тип до-технической интеллигенции. С одной стороны он, как мелкий буржуа, — материалист, до известной степени революционен, поскольку он враждебен капитализму, но в то же время он не может примириться с тою диалектической точкою зрения, которую выставляют марксисты, потому что эта диалектика в применении к нему означает его упразднение. Никогда общественный класс не примирится с теорией, которая говорит ему: «ты умрешь», ни один класс ни один человек с этим не примирится: это противоречило бы классовой природе. Поэтому до-техническая интеллигенция, не желающая помирать, склонна видеть явления в статическом состоянии, при чем, как говорится в одной грамоте Смутного времени, думает: «может-быть, господь смилуется, и до нас не дойдет». Эта до-техническая интеллигенция составляет, по моему мнению, ту социальную базу, на которой стоит Рожков. Этим объясняется, во-первых, его подход к хозяйственным явлениям. В то время как марксисты и пролетариат в лице марксизма берут хозяйство со стороны организации его, для них важен тип хозяйства — пролетарского, мелкобуржуазного, — для мелкой буржуазии важен труд, как таковой, в своей непосредственной форме. Наиболее в этом отношении мелкобуржуазным типом является толстовщина, когда человек садился на землю, начинал тачать сапоги, не справляясь с тем, целесообразно ли это, садился на землю только потому, что «надо трудиться». С этой стороны чрезвычайно типично внимание Рожкова к внешним формам хозяйственной деятельности — ко всем этим земледелиям и скотоводствам — иными словами к труду — в его индивидуальной, а не в его обще-

ственной форме. И недаром популярность Рожкова дала такой скачок кверху именно после Октябрьской революции. Едва ли нужно напоминать, что эта последняя, разрушив крупное капиталистическое хозяйство и не успев еще создать на его место социалистическое, — в промежуточный период, в связи с закрытием рынка, междоусобицей и блокадой, невольно вызвала к жизни целый ряд форм угасавшего со второй половины XIX века мелкого производства. Что, особенно в промежуток 1919 — 21 годов, мы нырнули в область натурально-хозяйственных отношений, это еще в свежей памяти у всех, и, повторяю, едва ли стоит об этом напоминать. «Трудовая интеллигенция» стала более трудовой, чем она была когда-либо на всем протяжении своего существования. Именно в этот период работы на огородах, колки дров и ношения на спине всевозможных пайков, она приобщилась к физическому труду как никогда раньше. И в лице фактически трудовика, а не марксиста, Рожкова она нашла историка, как нельзя более ей по сердцу.

Итак, поскольку речь идет о впавшей в натурально-хозяйственный рецидив интеллигенции, Рожкова можно считать хозяином сегодняшнего дня. Значит ли это, что плехановщина — хозяин «вчерашнего дня»? Нет, наоборот, плехановщина в значительной степени может возродиться завтра с возрождением нашей промышленности, нашей технической интеллигенции. Правда, теперь эта интеллигенция идет из рабфаков, через классовый прием — мы употребляем все меры к тому, чтобы она, как можно меньше, была похожа на свою предшественницу — интеллигенцию 90-х годов, но, как марксист, я не могу делать такого удара на происхождении интеллигенции. Рожков группирует декабристов по их происхождению — на аристократию, бюрократию и т. д. Происхождение, особенно от фабричного станка, очень важно, но все-таки оно не решает еще всего. Представьте себе такую картину: возрождается крупная промышленность, а с ней — техническая интелли-

генция. Представьте себе все это в капиталистическом окружении — на фоне ожесточенной войны с Западной Европой:—тут есть определенная угроза ежеминутно впасть в плехановщину, возвратиться к оборончеству. Плеханов в своих исторических концепциях, в частности в понимании русской истории, не является учителем прошлого, он является, может-быть, учителем будущего. Вот почему в настоящий момент не так важно бороться с рожковщиной, ибо она сама собою умирает, поскольку возрождается русская промышленность, она умирает, как умерли в 90-х годах народнические концепции русской истории — ее убивает стихийный исторический процесс, но этот же процесс может обусловить возрождение плехановщины. Вот почему ясное представление об ошибках Плеханова и его зависимости от буржуазной идеологии чрезвычайно важно запечатлеть в своем сознании, особенно вам, товарищи-зиновьевцы, потому что вы являетесь одной из тех групп, которые вырабатывают новую философию истории, — вернее одной из тех групп, через которые массовое движение вырабатывает свою историческую схему. Ибо оно, это массовое движение, при всей своей подвижности, представляет собою тот прочный грунт, на котором стоит диалектический материализм. Вот почему так быстро перестают быть историческими материалистами те, кто от этого движения отрываются.



РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО — «ПРИБОЙ» —

ЛЕНИНГРАД, ул. Герцена, 15. Телеф. № 217-79.
МОСКВА, Лубянский пассаж, № 46—49. Телеф. № 2-24-09.

РУССКАЯ ИСТОРИЯ.

- Покровский, М. Н. — Марксизм и особенности исторического развития России. Сборник статей 1922—25 г.г. Стр. 144. Ц. 80 к.
- Борьба классов. Исторический журнал Центрархива Р.С.Ф.С.Р. Под редакц. В. А. Быстрянского, В. И. Невского, А. Е. Преснякова и Т. И. Харченко. № 1—2. Стр. 419. Ц. 2 р. 50 к.
- Вознесенский, С. — Русская история. Указатель литературы. Стр. 296. Ц. 1 р.
- Павлов-Сильванский Н. — Феодализм в древней Руси. С предисловием М. Н. Покровского. Стр. 160. Ц. 1 р.
- Плеханов, Г. В. (Н. Бельтов). — К развитию монистического взгляда на историю. Сокр. изложение и примечания Н. Н. Андреева. Стр. 157. Ц. 80 к.
- Фирсов, Н. — Пугачевщина. Стр. 152. Ц. 75 к.
- Экономическое развитие и классовая борьба в России XIX и XX в. в. Т. I. Сост. С. Вознесенский. Стр. 318. Ц. 2 р.

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.

- Андреев, Н. Н. — Рим. (Учебник и хрестоматия). Стр. 115. Ц. 65 к.
- Вознесенский, С. — Экономический переворот в Западной Европе и реформация. Стр. 204. Ц. 90 к.
- Ковалев, С. И. — Всеобщая история в популярном изложении для самообразования. Ч. I. Древний мир. Стр. 144. Ц. 75 к.
- Ковалев, С. И. — Курс всеобщей истории. Т. I. Стр. 306. Ц. 1 р. 75 к.
- Ковалев, С. И. — Курс всеобщей истории. Т. II. Стр. 430. Ц. 2 р. 60 к.
- Розенталь, Н. Н. — Западно-европейское средневековье. Ч. I. Раннее средневековье. Стр. 117. Ц. 65 к.
- Розенталь, Н. Н. — Западно-европейское средневековье. Ч. II. Позднее средневековье. Стр. 151. Ц. 1 р.
- Тюменев, А. — Очерки экономич. и социальной истории древней Греции. Т. I. Революция. Изд. 2-ое. Стр. 170. Ц. 1 р. 30 к.



РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО — «ПРИБОЙ» —

ЛЕНИНГРАД, ул. Герцена, 15. Телефон. № 217-79.
МОСКВА, Лубянский пассаж, № 46—49. Телефон. № 2-24-09

ИСТОРИЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ.

- Александров, А. — Октябрь. Ц. 20 к.
- Березовский, Ф. — Таежные застрельщики. Очерки революционной борьбы 1905 г. Ц. 1 р.
- Воробьев, В. — Перед рассветом. Воспоминания 1916 — 1917 гг. Ц. 60 к.
- Воспоминания членов Совета Рабочих Депутатов Петербурга 1905 г. — Ц. 1 р. 25 к.
- Герасимов, А. — Красный броненосец. (Вооруженное восстание в 1905 г. на броненосце „Потемкин-Таврический“). Ц. 60 к.
- Егоров, И. — 1905 г. Восстание в Балтийском флоте и на корабле „Память Азова“. Ц. 10 к.
- „Искра“. № 1 — 52 (декабрь 1900 — ноябрь 1903). Полный текст под редакцией и с предислов. П. Лепешинского и со вступительной статьей Н. Крупской. В 7 выпусках. Вышли в свет первые три выпуска. Ц. 2 р. 50 к. за выпуск.
- Канатчиков, С. — Как рождалась Октябрьская революция. Ц. 25 к.
- Касаткин, К. — Первая Российская революция. Ц. 50 к.
- Клаас, Г. — Мои первые шаги на революционном пути. (Воспоминания 1904 — 1905 гг.). Ц. 30 к.
- Корев, С. и В. Юрьев. — Историко-революционные вечера в клубе. Ч. III. Ленин и РКП. 1905 г. 1917 г. Ц. 1 р.
- Кривошеина, Е. — Советы Раб. Депутатов. Ц. 40 к.
- Леске, Э. — Страницы из истории комсомола. Очерк по истории социалистического союза рабочей молодежи в Ленинграде 1917 — 1918 гг. Под редакцией А. Ф. Ильина-Женевского и с предисловием Г. М. Дрязгова. Ц. 50 к.



РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО == «ПРИБОЙ» ==

ЛЕНИНГРАД, ул. Герцена, 15. Телеф. № 217-79.
МОСКВА, Лубянский пассаж, № 46—49. Телеф. № 2-24 09.

- Лепешинская, А. К. — Книга для чтения по истории 1905 г. Ц. 1 р. 40 к.
- Моршанская, М. — В. К. Курнатовский. Ц. 85 к.
- „Новая Жизнь“ — Первая легальная с.-д. большевистская газета. 27 октября — 3 декабря 1905 г. Полный текст под редакцией и с предисловием М. Ольминского и со вступит. статьями Л. Красина, М. Литвинова, Ис. Гукковского и Е. Смиттен. В 4 выпусках. Цена каждого выпуска 2 р. 50 к.
- Пальвадрэ, Я. — Револ. 1905—07 г.г. в Эстонии. (Печ.)
- Пионтковский, С. — История рабочего движения в России. Ц. 1 р. 30 к.
- Пионтковский, С. — Февральские дни 1917 г. Изд. 4. Ц. 1 р.
- Пионтковский, С. — 9 Января 1905 г. Ц. 30 к.
- Платонов, А. П. — Восстание в Черноморском флоте в 1905 г. Ц. 1 р. 30 к.
- Ротенберг, Н. — Первая русская революция 1905 г. Ц. 65 к.
- Тахтарев, К. М. — Рабочее движение в Петербурге (1893—1901). Ц. 90 к.
- Фельдман, К. — Потемкинское восстание (14—25 июня 1905 г.). Воспом. участника. С прил. статьи В. Бухгольца „Потемкинцы в Германии“. (Печ.)
- Флеер, М. Г. — Рабочее движение в России в годы империалистической войны. Ц. 1 р.
- Харечко, Т. — 1905 г. в Донбассе. Ц. 1 р.
- Цветков-Просвещенский, А. — В годы реакции и нового под'ема. (1907—1914 гг.). Ц. 1 р.
- Шелавин, К. — Рабочий класс и ВКП(б) в февральской революции 1917 г. Ц. 90 к.
- Янсон, П. — Карательная экспедиция в Прибалтийский край (1905—1907 гг.). Ц. 60 к.



РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

== «ПРИБОЙ» ==

ЛЕНИНГРАД, ул. Герцена, № 15. Телефон № 217-79.
МОСКВА, Лубянский, пассаж, № 46—49. Тел. № 2-24-09.

История революционного движения на Западе.

- Буржен, Жорж.—История Коммуны. Ц. 80 к.
Вильом, Макс.—В дни Коммуны (записки). Ц. 1 р. 50 к.
Гайдерова, З.—Парижская Коммуна. Ц. 15 к.
Гехтман, В. и Корев, С.—Историко-революционные вечера в клубе. Вып. I. Парижская Коммуна. Ц. 70 к.
Гингор, С. В.—Первое политическое рабочее движение в Англии. Ц. 50 к.
Домманже, М.—Бабеф и заговор равных. Ц. 40 г.
Его же.—Бланки. Ц. 40 к.
Его же.—Коммунар Варлен (1839—1871). Ц. 35 к.
Заславский, Д.—Гражданская война в Соед. Штатах Сев. Америки (1861—1865). Ц. 80 к.
Захер, Я.—Девятое Термидора. Ц. 60 к.
Его же.—Очерки по истории „бешеных“ эпохи Великой Французской революции. Ц. 45 к.
Кудрявцев, А. Е.—Великая Английская Революция. Ц. 1 р. 25 к.
Кунов, Генрих.—Политические кофейни. Парижские силуэты времен Великой Французской Революц. Ц. 30 к.
Лавров, П. Л.—Парижская Коммуна. Ц. 80 к.
Лефрансе, Г.—Воспоминания коммунара. Ц. 70 к.
Маркс, К.—Гражданская война во Франции 1871 г. Ц. 90 к.
Молок, А.—Парижская Коммуна. (Готов. к печати).
Радкевич, К.—Крестьянская война в Германии. (Попул. очерк). Ц. 70 к.
Талес, К. М.—Парижская Коммуна 1871 г. Ц. 75 к.
Шелавин, К.—Парижская Коммуна 1871 г. Ц. 10 к.
Шмидт, Ш.—Июньские дни 1848 года. (Печатается).
Шеголев, П. П.—Заговор Бабефа. Ц. 2 р.

ТОРГСЕКТОР ИЗД-ВА „ПРИБОЙ“
ЛЕНИНГРАД: УЛ. ГЕРЦЕНА,
ДОМ № 15. ТЕЛЕФОН 217-79, 217-78.
МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
ЛУБЯНСК. ПАСС., 46—49. Т. 2-24-09
ОТДЕЛЕНИЯ: В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ,
ХАРЬКОВЕ, КИЕВЕ, СВЕРДЛОВСКЕ,
НОВГОРОДЕ, ЧЕРЕПОВЦЕ И В
УЕЗДНЫХ ГОРОДАХ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ГУБЕРНИИ



UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL

00051140184